Отторино Каппелли

«ДО-СОВРЕМЕННОЕ» ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ПОСТСОВЕТСКОЙ РОССИИ[1]

ГОСУДАРСТВО, ИСТОРИЯ И ТРАНЗИТОЛОГИЯ

В самый разгар эпохи Рейгана-Тэтчер с ее зацикленностью на «устранении государства» через приватизацию и дерегулирование группа социологов обнародовала смелый исследовательский план по «возвращению государства». Они говорили о том, что пришло время оставить «теоретическую склонность к ориентации на общество», и приступить к парадигмальной переориентации на государственно-центрированный анализ[2]. Они также настаивали на том, что исторические факты и данные должны восприниматься серьезно, и защищали сравнительный подход к формированию государства и к политическому развитию. События в мире, однако, шли в противоположном направлении.

Время для этой публикации — 1985 г. — было выбрано неудачно. В этом году Михаил Горбачев был избран Генеральным секретарем КПСС, и его «перестройка» быстро обернулась рыночно-ориентированными реформами и политической либерализацией. В условиях начавшейся «демократической смуты» партия начала распадаться, а за ней — и страна[3]. К концу десятилетия пала берлинская стена и наступил коллапс Советского Союза. Мир приветствовал окончание холодной войны и начавшуюся «третью волну» демократизации как окончательную победу «либеральных свобод» Локка

1. Ottorino Cappelli, "Pre-Modern State-Building in Post-Soviet Russia', *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, 2008, vol. 24, no. 4, p. 531–572.
2. Theda Skocpol, «Bringing The State Back In: Strategies of Analysis in Current Research», in Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol (eds), *Bringing The State Back In* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), p. 3–36 (p. 8).
3. См. Samuel P. Huntington, «The Democratic Distemper», *The Public Interest*, No. 41 (1975), p. 9–38. Я пытался показать, что «демократическая смута» сыграла ключевую роль в неудаче перехода России к демократии. См. *Demokratizatsiya: La transizione fallita* (Napoli: Guida, 2004).

над «Левиафаном» Гоббса. Все это определило характер следующих двух десятилетий — неизменная ориентация на общество в ущерб государству. В то же самое время, поскольку история — как предполагалось — закончилась, общественный дискурс потерял историческое измерение. Демократия представлялась теперь чем-то таким, что можно запросто создать (в любом месте и за короткое время) при помощи комбинации из конституционных разработок, шоковой терапии, рыночных реформ, развития неправительственных организаций (НПО) и даже военного вмешательства. Более того, в ситуации, когда в сфере коммуникаций постоянно возрастало мягкое господство массмедиа, горластый выводок политических аналитиков и адвокатов демократии практически сформировал новый образ глобальной политической риторики. «Переход к демократии» стал универсальным паролем. На руинах концептуального, восприимчивого к истории сравнительного политического анализа возник дискурс *транзитологии*, который возвещал демократические изменения режимов, практически не уделяя внимания процессам государственного или политического развития[4].

Завершение любой войны порождает всплеск эйфории в стане победителей. Но эйфория может вести к перегибам, успех — к головокружению, как еще в 1930 г. Сталин предупреждал тех своих соратников по партии, которые продолжали опустошать деревню после победы в «классовой войне» против кулаков: «Но успехи имеют и свою теневую сторону, особенно когда они достаются сравнительно „легко“, в порядке, так сказать, «неожиданности». Такие успехи иногда прививают дух самомнения и зазнайства: «Мы все можем!», «Нам все нипочем!». Они, эти успехи, нередко пьянят людей, причем у людей начинает кружиться голова от успехов, теряется чувство меры, теряется способность понимания действительности»[5].

Знаком того, что победивший Запад потерял чувство реальности, стало — спустя десять лет после падения коммунизма — очевидное разочарование в процессе демократизации, которое затем только росло. Согласно *Freedom House*, из 12 бывших советских республик (исключая страны Балтии), вступивших в процесс перехода к демократии в 1989–1991 гг., ни одна не могла считаться демократией в 1999 г., и лишь пять все еще можно было считать «переходными», а остальные оценивались как полностью или частично авторитарные режимы. Через десять лет только Украина и Грузия сохраняли свой «переходный» статус — благодаря получившим иностранную поддержку «революциям гражданского общества». В 2008 г. четыре страны были частично авторитарными режимами, а шесть — полностью (возможно, даже семь, поскольку Россия Путина находилась где-то на границе между первыми и вторыми). Короче говоря, прогноз относительно демократизации провалился применительно к почти 90% территории и населения бывшего СССР, а вместе с ним сгинули в никуда и миллиарды долларов, потраченные на помощь демократии (см.: Табл. 1).

4. В данном случае под «дискурсом» я понимаю не столько собственно научные исследования, сколько «общественный дискурс», который стал доминирующим с начала 1990-х в СМИ и в среде аналитиков, работающих на мозговые центры, финансовые институты, консалтинговые фирмы, частные фонды, НПО и различные агентства по продвижению демократии. Именно эти люди задавали тон в транзитологии на протяжении последних двух десятилетий.
5. И. В. Сталин, «Гооловокружение от успехов», *Правда*, 2 марта 1930 года.

Таблица 1. Индекс демократии по Freedom House

	1999		2008
Переходные правительства («Гибридные режимы»)			
Грузия	4,17	Украина	4,25
Молдова	4,25	Грузия	4,79
Россия	4,58		
Армения	4,79		
Украина	4,63		
Частично авторитарные режимы			
Киргизия	5,08	Молдова	5
Азербайджан	5,58	Армения	5,21
Казахстан	5,5	Киргизия	5,93
Таджикистан	5,75	Россия	5,96
Полностью авторитарные режимы			
Беларусь	6,25	Азербайджан	6
Узбекистан	6,38	Таджикистан	6,07
Туркменистан	6,75	Казахстан	6,39
		Беларусь	6,71
		Узбекистан	6,86
		Туркменистан	6,93
Средний	5,31		5,84
Медианный	5,29		5,98

Провал транзитологии ограничивается не только теоретическим измерением, поскольку она имела дело не только с академическими исследованиями, но и с практическими выкладками, которые влияли на политику прави-

тельств, частных фондов и международных финансовых институтов. Убежденные, что они «сражаются в последней битве между добром и злом»[6], эти субъекты навязывали смертельную смесь из электоральной демократизации, дикой приватизации и ортодоксальной либерализации. Результатом стало, строго говоря, разгосударствливание. Некоторые постсоветские республики (значительная их часть) погрузились в политический хаос (иногда даже — в гражданские войны), а другие вернулись к гротескной форме автократии (или даже восточной деспотии); в большинстве случаев беззаконие и коррупция достигли опасного уровня, а на останках государства устроила пиршество хищническая элита, мало заботящаяся об общественном благе (как бы его ни определять). Создается впечатление, что на территории бывшей сверхдержавы пошли прахом десятилетия, если не столетия, политического развития. Если принять (как я в этой статье), что все это случилось ненамеренно, значит, с процессом посткоммунистического перехода к демократии что-то пошло определенно не так. Потеря контакта с реальностью имела серьезные последствия — как на теоретическом, так и на политическом уровне.

В этом, безусловно, сыграло роль вредное влияние политического энтузиазма. Как откровенно признал Гильермо О'Доннелл в середине 1990-х, «колоссальные энтузиазм и надежда» в годы падения авторитаризма породили набор *иллюзий* относительно демократизации, которые, будучи «крайне полезными» и «прагматически ценными» в качестве политического дискурса, были лишены, тем не менее, «аналитической обоснованности»[7]. Тем не менее, в подходах транзитологии имелись также и два концептуальных изъяна: во-первых, пренебрежение государством и государственным строительством, а также связанная с этим проблема значения терминов «государство» и «государственность»; во-вторых, нехватка исторической глубины анализа, которая особенно важна при рассмотрении такого исторически нагруженного института, как государство. Два десятилетия после завершения холодной войны мы ищем если не политической мудрости, то, по меньшей мере, пути для исправления этих ошибок, расстаемся с иллюзиями и пытаемся вернуться к анализу, основанному на фактах. И этого, я полагаю, мы можем достичь только приняв упомянутый выше исследовательский план и вернув на подобающее место государство — и историю.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВА — ЕЩЕ РАЗ

Ложная посылка: свобода против государства

Парадигма транзитологии основывалась на нескольких ложных предпосылок, среди которых были: а) биполярное видение мира, согласно которому большинство политических режимов являются либо демократиями, либо

6. Joseph Stiglitz, *Globalization and Its Discontents* (New York: W. W. Norton, 2002), p. 167.
7. Guillermo O'Donnell, «Illusions about Consolidation», *Journal of Democracy*, Vol. 7, No. 2 (1996), p. 34–51 (p. 47).

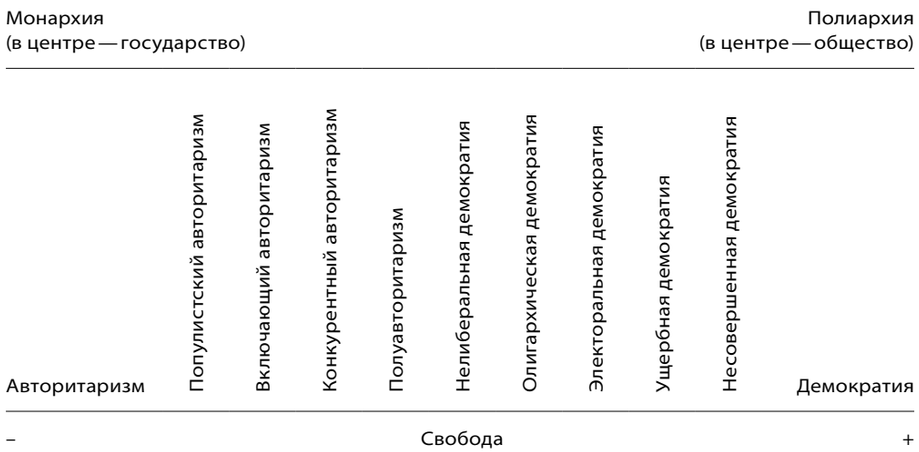
авторитарными режимами, либо чем-то средним, причем в последнем случае они не являются ни первым, ни вторым, но могут определяться только как «гибридные»; б) представление о наличии в этом политическом пространстве только одного измерения, в котором движение (или изменение) может происходить только по одной потенциальной траектории, от одного полюса к другому. Другие две ложные посылки самостоятельны: в) представление о построении демократии как о стратегии, чей успех был, так или иначе, связан со снижением роли государства; г) убеждение, что эта стратегия приложима, в частности, к постсоветским государствам — из-за унаследованного ими якобы сильного, даже тоталитарного государства.

Эти посылки пришли из времен холодной войны, когда в ходе конфронтации по принципу «или-или» демократия («свободный мир») противопоставлялась коммунизму. Господствующее видение мира в эту эпоху структурировала четкая дихотомия: два противоположных полюса, между которыми мало что находится, разделены отчетливой демаркационной линией — наличием свободных выборов, результаты которых могут быть оспорены. Когда в 1990-х пал коммунизм и началась «третья волна» демократизации, постепенно стало ясно, что это минимальное, процедурное определение демократии не адекватно в качестве критерия полноты демократии. Поэтому были добавлены и другие определения, инспирированные преимущественно концепцией полиархии Роберта Даля: свобода выражения, альтернативные источники информации, автономия ассоциаций, независимое гражданское общество, рыночная экономика, власть закона. Заметив, что эти переменные были представлены в переходных обществах по-разному и в разных комбинациях, исследователи и аналитики начали изобретать определения для выявления различных видов «гибридного режима», который находился между двумя полюсами. Детально исследовав этот феномен, Коллье и Левитский использовали фразу «махинации с определениями» для указания тенденции к введению нового определения каждый раз, когда наблюдался некий аномальный случай[8]. Данное умножение числа определений помогло превратить предшествовавшую четкую дихотомию в некий насыщенный «переходный континуум», политическое пространство, которое теперь изобиловало бесчисленным количеством «девиантных случаев», или несовершенных приближений к демократии или авторитаризму. На Диаграмме 1 представлена лишь небольшое число этих определений, но этого достаточно, чтобы понять, что в них общего: они идентифицируют дискретные единицы на однолинейной траектории, чье определяющее измерение может быть обозначено как «свобода».

Такой подход отвечал нескольким задачам. Во-первых, он хорошо вписывался в эталоны *Freedom House*, так как различные степени свободы измеряют политическое пространство, отделяя «свободные» общества от «несвободных». Во-вторых, он давал приют классикам либерально-демократической

8. David Collier and Steven Levitsky, «Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research», *World Politics*, Vol. 49, No. 3 (1997), p. 430-4-51 (p. 445).

Диаграмма 1. Демократический «переходный континуум»



мысли, заполняя пространство между монархией (ситуацию крайней концентрации власти) и полиархией (ситуацией, когда доступ к власти облегчен настолько, насколько это возможно), с которой свобода — в том смысле, в каком о ней говорится здесь — действительно граничит. Наконец (и это важнее всего), этот подход отражал идеологическую установку социоцентричных подходов, где один полюс (максимум свободы) соответствовал идеальной области самоуправляющегося гражданского общества, а другой (минимум свободы) — обозначал угрозу государственного контроля и бюрократического принуждения. В резком контрасте с политическим реализмом старых теорий модернизации, которые фокусировались на политической стабильности и подчеркивали достоинства государственной власти, неолиберальная идеология *fin-de-siècle* фокусировалась на свободе и, особенно, на независимости от государства. Неудивительно, что для нее единственным приемлемым понятием государства было *Rechtsstaat* (правовое государство): правительство «обязано себя контролировать» и, таким образом, ориентироваться преимущественно на защиту общества от потенциального волюнтаристского злоупотребления собственной властью. Отсюда базовая ложная посылка транзитологии: демократизация требует больше свободы и меньше государства.

Это может показаться парадоксом, поскольку даже отцы-основатели признавали, что при формировании жизнеспособного политического порядка «в первую очередь надо обеспечить правящим возможность осуществлять контроль над управляемыми; а вот вслед за этим необходимо обязать правящих осуществлять контроль над самими собой»[9]. Однако мы наблюдаем

9. *Федералист: Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея*. М.: Издательская группа «Прогресс» — «Литера», 1994. С. 347.

здесь нечто большее, чем парадокс. Отказавшись от всякого серьезного анализа исторических предпосылок демократии, адепты транзитологии упустили из виду тот факт, что «первая волна» демократизации возникла в странах, «в которых — необычный и, может быть, уникальный случай для того времени — государство было чрезвычайно сильно», и давно научилось контролировать тех, кем управляло[10]. Приняв как само собой разумеющееся, что посткоммунистические страны унаследовали такие же сильные государства, адепты транзитологии предположили, что для победы либеральной демократии эти структуры должны быть ослаблены и поставлены под контроль общества — настолько, насколько это возможно. Это была общая идея в посткоммунистической России, с ее зацикленностью на «борьбе между гражданским обществом и государством»[11]; те же соображения вели международные институты к тому, чтобы включить в повестку дня скорее снижение роли государства, а не государственное строительство[12]. Все это, однако, базировалось на ложной предпосылке.

Посткоммунистическое движение к демократии началось с позиций, весьма отличных от тех, с которых начался оригинальный европейский переход к демократии. Во-первых, режимы советского типа *не* обладали чрезвычайно сильным государством. Если советология и может научить нас чему-либо, так это тому, что такие режимы были менее эффективными, более внутренне дифференцированными и пронизанными конфликтами интересов, чем можно было бы ожидать от монолитного Левиафана. Во-вторых, действительная и верховная власть принадлежала не государству, а партии, и когда Горбачев допустил коллапс последней в конце 1980-х, государство едва ли могло занять ее место[13]. Когда осуществление планов по переходу к демократии нанесло последний удар, посткоммунистические правительства с трудом могли «осуществлять контроль над управляемыми». Это было наихудшим сценарием для демократизации. Однако в годы энтузиазма и надежд мало кто мог осознать этот факт и его следствия на теоретическом и политическом уровнях.

Государственность: определение

Среди первых и наиболее авторитетных исследователей, которые вернули тему государства в повестку дня, были Хуан Линц и Альфред Степан. Отметив в 1995 г., что «сегодня во многих странах мира, прежде всего, на терри-

10. Valerie Bunce, «Comparative Democratization. Big and Bounded Generalizations», *Comparative Political Studies*, Vol. 33, No. 6/7 (2000), p. 703–734 (p. 714).
11. Vladimir Shlapentokh, «Hobbes and Locke at Odds in Putin's Russia», *Europe-Asia Studies*, Vol. 55, No. 7 (2003), p. 981–1007 (p. 981).
12. Фрэнсис Фукуяма., *Сильное государство*. М.: АСТ, 2006. С. 34. Francis Fukuyama, *State-Building: Governance and World Order in the 21st Century* (Ithaca, NY: Cornell Univeristy Press, 2004), p. 15.
13. О «деструктивной» роли Горбачева при коллапсе СССР см. Rita di Leo, «„Rex destruens": An Interpretative Essay», Journal of Communist Studies and Transition Politics, Vol. 11, No. 2 (1995), p. 111–124.

тории бывшего СССР, не существует адекватно функционирующего государства»[14], они назвали «государственность» одним из минимальных условий продвижения к демократии: «В современной политике, если государства не существует, невозможно проведение свободных и авторитетных выборов, победители не могут использовать монополию на легитимное применение силы, а права граждан не могут быть защищены властью закона... Нет государства — нет демократии»[15]. Здесь, как представляется, речь идет не о «демократической» государственности, но о государственности *per se* — о том, что в классической политической теории называется «суверенностью». В этом смысле существование государства является сущностным атрибутом любой «современной политики» и, таким образом, предварительным условием как для авторитарных, так и для демократических режимов. Опираясь на названных авторов, мы можем заключить, что эффективное государство возможно благодаря двум типами условий. Первый тип касается *принятия решений*: а) правительство должно обладать — как *de jure*, так и *de facto* — властью определять политику; б) «политическое сообщество» (элиты, партии, парламент) должны быть относительно независимы от гражданского общества — для того, чтобы иметь возможность суммировать его требования, регулировать конфликты и контролировать доступ к проведению публичной политики. Второй тип условий касается *исполнения и принуждения*: а) государство должно обладать монополией на применение силы на своей территории; б) «полезная бюрократия» должна быть способна принуждать к исполнению законов и проводить в жизнь политические решения, в первую очередь те, которые направлены на регулирование рынка.

Степень наличия всех этих условий, естественно, различается от страны к стране, и определяет относительную *силу* их государственности, но не природу политического режима. Режимы, которые обладают хорошей государственностью, могут склоняться как к демократии, так и к авторитаризму — в зависимости от уровня свободы. Однако наиболее существенный момент заключается в том, что если для демократии действительно требуется б*о*льшая свобода, чем для авторитаризма, уровень государственности для нее требуется не меньший. Режимы, уровень государственности которых ниже минимального, выпадают из сферы «современной политики». А потому не могут считаться ни демократическими, ни авторитарными. Нет государства — нет демократии, *но нет и авторитаризма*.

Эти аргументы подчеркивают принципиальное различие между двумя базовыми аспектами государственности, обыкновенно определяемыми как *автономность* и *дееспособность*. Согласно развернутому обзору мэйнстримной литературы по данному предмету, «Автономность относится к способности государства формулировать собственные интересы, независимо или

14. Juan J. Linz and Alferd Stepan, «Toward Consolidated Democracies», *Journal of Democracy*, Vol. 7, No. 2 (April 1996), p. 14–33 (p. 21).
15. *Ibid.*, p. 14

даже вопреки воле различных социальных групп... Дееспособность определяется как способность государства осуществлять стратегические решения по достижению своих экономических, политических и социальных целей в обществе... [Сильное государство] обладает способностью действовать ради достижения своих интересов... неуспешные государства ограничены или даже подчинены своим социальным контекстам и не способны действовать независимо»[16].

Аналитики, изучающие современный процесс перехода к демократии, часто пренебрегают важностью этого различия и фокусируются, как правило, исключительно на дееспособности государства. Например, Фрэнсис Фукуяма в своем «Сильном государстве» описывал государственность в примитивных веберианских терминах, как «исключительной возможности послать кого-либо в форме и с оружием для того, чтобы заставить людей исполнять правительственные законы»[17]. Автора, однако, интересует не независимость государства при принятии законов, но лишь способность навязывать их. Иначе говоря, государство должно быть способным обеспечивать порядок, безопасность и должную среду для «современного мира экономики». «Ничего подобного в России не было, и в результате многие приватизированные активы не дошли до тех бизнесменов, кто смог бы сделать их продуктивными. Расхищение общественных ресурсов так называемыми олигархами привело к частичной нелегитимности посткоммунистического российского государства»[18].

Хотя здесь и имеется некий шаг вперед, поскольку государство наделяется определенной ролью, такая перспектива, в лучшем случае, не полна. Сводя государственность к осуществлению политических решений и принуждению к исполнению законов, она поддерживает технократический подход, который упускает из вида важную политическую тему принятия решений. Но *auctoritas facit legem* (власть устанавливает законы) — это базовый принцип современного государства: государственность невозможно правильно понять, если не принимать во внимание важнейший момент — кто именно обладает властью, чтобы устанавливать законы. Возвращаясь к примеру Фукуямы: реальная проблема российской приватизации заключалась не столько в ограниченной дееспособности государства, сколько в отсутствии его автономности перед лицом элит, стремившихся получить доступ к политической власти для присвоения общественных ресурсов с целью извлечения частных прибылей. Статья, опубликованная в *Financial Times* в 2000 г., вполне передает суть проблемы: «Олигархов назвали так потому, что они обладали реальной властью, государственной властью. Они писали законы, они назначали министров (иногда даже целые кабинеты), и они следили за тем, чтобы их интересы соблюдались. Они коррумпировали новое

16. Karen Barkey and Sunita Parikh, «Comparative Perspectives on the State», *International Review of Sociology*, Vol. 17, No. 2 (1991), p. 523-5-49 (p. 525).
17. Фукуяма, *Сильное государство*. С. 20.
18. *Там же*. С. 41.

правительство, законодательную власть и российскую бюрократию — в центре, в регионах и даже заграницей»[19].

Коррупция — это показательный случай, поскольку некоторые аналитики рассматривают ее как главный индикатор силы или слабости государства. И, опять-таки, те, кто измеряет государственность только таким критерием, как дееспособность, склонны рассматривать только один аспект коррупции — ее влияние на способность государства к осуществлению политических решений и принуждению к исполнению законов. Но имеется и другой, более существенный в политическом отношении аспект этого феномена, именуемый иногда «крупномасштабной коррупцией» и «захватом государства». Согласно коллективу исследователей МВФ и Всемирного банка: «В то время как большинство типов коррупции направлены на изменение того, как существующие законы, правила и регулирующие нормы исполняются в отношении самого коррупционера, „захват государства" подразумевает коррупционные попытки осуществить влияние на само формирование этих законов, правил и регулирующих норм. Подкуп парламентариев с целью «приобрести» их голоса в важных моментах законодательной деятельности, подкуп правительственных чиновников с целью введения благоприятствующих регулирующих норм и актов, подкуп судей с целью оказать влияние на решения суда — это классические примеры «крупномасштабной коррупции», посредством которой фирмы могут тайно обеспечивать себе преимущества в базовых законодательных и регуляционных структурах экономики... [В России] за одно десятилетие страх перед государством-Левиафаном дал зеленый свет олигархам, обретшим власть, достаточную для «захвата государства» и контроля над политическим процессом, регуляционной и законодательной средой ради собственной выгоды, порождая концентрированные ренты в ущерб всей остальной экономике»[20].

Это практическое различие полностью соответствует концептуальному различию между двумя описанными выше аспектами государственности. Если коррумпированному государству недостает дееспособности, то «захваченному» государству недостает автономности перед лицом стремящихся к получению ренты элит, которые «совместно разрабатывают хищнический проект по извлечению ресурсов из государства». Согласно софийской группе исследователей, это «государство, в котором отдельные групповые интересы доминируют в политическом процессе, когда они незаконным образом

19. Из статьи Джона Ллойда в Financial Times, 5 Aug. 2000, p. 1, цит. по: Daniel Kaufmann, «Click Refresh Button: Investment Climate Reconsidered», Development Outreach, The World Bank Institute (March 2005), p. 16.

20. Первая часть цитаты из: Joel Hellman and Daniel Kaufmann, «Confronting the Challenge of State Capture in Transition Economies», *Finance & Development* (a quarterly magazine of the IMF), Vol. 38, No. 3 (2001), p. 1–9 (p. 2); вторая часть из: Joel S. Hellmann, Geraint Jones and Daniel Kaufmann, «Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption and Influence in Transition», World Bank Policy Research, Working Paper No. 2444 (September 2000), p. 1–41 (p. 1).

формулируют правила игры». И, как добавляют авторы, «Россия в последние годы [правления Ельцина] полностью соответствует этому описанию»[21].

Прежде чем двинуться дальше, суммируем приведенные выше аргументы. Политическое пространство, в котором существуют, консолидируются и изменяются различные режимы, не должно определяться только «свободой», следует добавить измерение «государственности». «Государственность», или сила государства, является существенной объяснительной переменной, равно как, понятно, и слабость государства. Сильное государство является фундаментальным атрибутом режимов, которые относятся к классу «современных политических», неважно, демократических или авторитарных; слабое государство характеризует режимы, которые не относятся к этому классу. Государственность связана с двумя определяющими моментами: 1) автономия от негосударственных интересов в принятии решений и 2) способность навязать эти решения обществу в целом. Как мы увидим ниже, имеются три *loci classici*, где эти аспекты могут быть проанализированы: дихотомия общественное-частное; отношения центр-периферия; существование «полезной» бюрократии. Сегодня многие «переходные» режимы испытывают сложности во всех этих сферах, что свидетельствует о недостаточном уровне дееспособности и автономности их государств. Некоторые просто разорваны на части мощными частными интересами, сильными местными элитами и правительственной системой, основанной на личных связях и отношениях патрон-клиент. Другие ведут борьбу за восстановление суверенности государства, часто прибегая к насильственным методам. В обоих случаях слабость этих государств делает неадекватным навешивание на них ярлыков «демократических», «авторитарных» и «гибридных» режимов. Если принять во внимание измерение «государственности», можно будет организовать двумерное политическое пространство в виде некоей модели, описывающей — в более сложных и тонких терминах — как типы режимов, так и их изменения.

Свобода и государственность: модель политического пространства

Как показано на Диаграмме 2, в таком двумерном пространстве *место*, занимаемое страной в данное время, определяет тип ее режима, в то время как *вектор* указывает на возможные траектории изменения. Особенностью такого пространства является то, что оно идеально разделяется демаркационной линией, которую мы назовем «порогом государственности». Выше нее мы находим режимы, наделенные относительно сильным государством, которые могут быть охарактеризованы как авторитарные (сектор II) и демократические (сектор I); ниже линии располагаются режимы, представляющие довольно слабые государства. Наша рабочая гипотеза заключается в том, что гибридные, или «переходные» режимы должны находиться имен-

21. Ivan Krastev (ed.), *The Inflexibility Trap: Frustrated Societies, Weak States and Democracy* (Sofia: Centre for Liberal Strategies and Institute for Market Economics, 2003), p. 24.

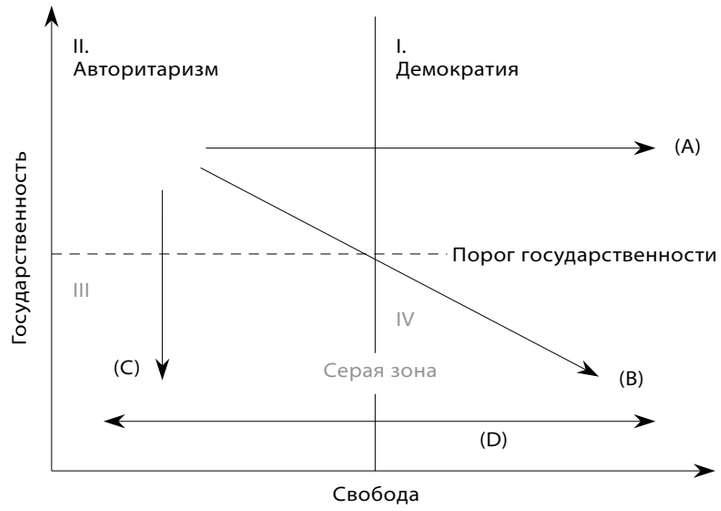


Диаграмма 2. Модель политического пространства

но там, и это объясняет, почему они не могут рассматриваться как «девиантные случаи» режимов, которые уже (или еще) не авторитарные (демократические). Хотя они все еще могут различаться по уровню свобод, уровень государственности у всех них низок, и именно этот факт является наиболее существенным. Они суть «что-то иное», поскольку находятся «где-то в другом месте», т. е. в той части политического пространства, которая может быть предварительно обозначена как «серая зона» (сектора III и IV оставим пока без названия).

Сходные рассуждения применимы и к перемещению в политическом пространстве. В области над «порогом государственности» вектор A отражает — и корректирует — классическую посылку транзитологии: демократизация зависит от уровня свободы *как только* достигнут минимальный уровень государственности. Однако смена режима может происходить по различным траекториям, отличным от траектории «от авторитаризма к демократии» и «от демократии к авторитаризму». Векторы B и C, на самом деле, ведут «куда-то еще». Наконец, в нижних секторах пространства режим может обрести равновесие и стабилизироваться или продолжить «движение» в его границах (вектор D). Последняя траектория все еще проходит в направлении от минимальной к максимальной свободе, но ее не следует путать с траекторией «авторитаризм-демократия». И стабильность, и изменение здесь происходят в весьма отличной социальной и политической среде, в «серой зоне», которая еще требует определения.

Термин «серая зона» обязан свои происхождением двум авторам, которые внесли основной вклад в исследование этого политического «где-то еще».

Гильермо О'Доннелл называет это «серой областью», а Томас Каротерс — «политической серой зоной». Оба признают, что данное пространство характеризуется низким уровнем государственности и находится вне сферы «авторитаризм-демократия», но, тем не менее, обладает своей собственной внутренней динамикой и моделями консолидации и изменения.

«Серая область» О'Доннелла населена режимами, которые, как правило, выглядят как демократии (например, проводят выборы), «но, тем не менее, им либо вовсе недостает ее ключевых атрибутов, либо они воспроизводятся на очень низком уровне». К этим атрибутам, прежде всего, относятся «правовое рациональное государство» и, особенно, «поведенческое, правовое и нормативное разграничение общественной и частной сфер»[22]. Эти режимы могут консолидироваться, но консолидация происходит на основании ряда неформальных институтов, которые включают, прежде всего, «клиентелизм и, более обще, партикуляризм», т. е. «различные виды отношений, которые не распространяются на все общество: от иерархического партикуляристского обмена, патронажа и непотизма до благоприятствования действиям, которые с точки зрения формальных правил институционального пакета полиархии рассматривались бы как коррупционные»[23].

Эта картина предполагает, вероятно, хаотическую фрагментацию власти, с центробежными движениями, разрывающими государство в ходе бесконечных микроприватизаций общественных активов и ресурсов, которые могут оказывать потенциально разрушительное влияние на отношения центр-периферия. В такой ситуации дееспособность и автономия государства находятся на крайне низком уровне. Тем не менее, режимы в «серой области» могут достигать и более централизованной формы власти, когда несколько могущественных клиентел-групп монополизируют государственные активы, используя патронаж как интегративную силу и концентрируясь вокруг сильного лидера. В этом случае власть имеет тенденцию быть скорее персоналистской и делегативной, нежели универсалистской и представительной, и она может принимать форму «плебисцитарного цезаризма, в том смысле, что единожды избранное лицо рассматривает себя как наделенное правом руководить страной так, как считает нужным»[24]. Такой режим может казаться сильным и стабильным, демонстрируя определенную дееспособность в монополизации насилия и навязывании законов, однако государство остается слабо институализированным, поскольку оно на самом деле «принадлежит» лидеру и членам доминирующего клана: «такой контекст вдохновляет еще большую эрозию законной власти, еще сильнее размывает границы между общественным и частным, побуждает к еще большей коррупции»[25]. Таким образом, политические режимы в «серой области» О'Доннелла, при том, что все они обладают низким уровнем государственно-

22. O'Donnell, «Illusions About Consolidation», p. 34, 40.
23. *Ibid.*, p. 45.
24. *Ibid.*, p. 44.
25. *Ibid.*, p. 45.

сти, могут быть описаны как тяготеющие к двум разным полюсам: с одной стороны — централизованная власть и минимальная свобода, а с другой — рассеянная власть и заметная свобода.

Эта поляризованность более эксплицитно представлена в описании Томасом Каротерсом его «серой политической зоны». Автор обнаруживает два «политических синдрома», или тенденции, которые время от времени становятся регулярными и стабильными, консолидируясь в «общие политические условия..., нормальное состояние для многих обществ»[26]. Они определяются как «бесформенный плюрализм» и «политика доминирующей власти». В первом случае может наблюдаться значительный уровень политических свобод и относительно регулярные выборы, которые могут даже обеспечивать серьезные изменения во власти. Тем не менее, политическую сцену населяют недолго живущие политические партии, возглавляемые известными личностями; центральные и местные элиты и их патронажные сети сильно фрагментированы; альянсы временны и нестабильны, а политическая идентичность размыта. Участие населения во власти незначительно, а потому общество воспринимает политику как «грязную, коррумпированную сферу, где доминируют элиты, от которой мало пользы и которая, потому, не заслуживает почти никакого уважения»[27]. Авторитет государства низок и правительство не способно регулировать экономику, обеспечивать социальную защиту населения, контролировать налогообложение и поддерживать общественный порядок по всей стране.

Режимы, находящиеся под воздействием синдрома «политики доминирующей власти», с другой стороны, часто позволяют существовать формальным демократическим институтам, однако в контексте серьезно ограниченной свободы. Некоторый уровень политической оппозиции допускается, но настоящая партийная система отсутствует и политическое участие довольно редко — за исключением ритуала выборов, которые, хотя ими и манипулируют, получают определенное международное признание и рассматриваются как в целом приемлемые. За фасадом ограниченного плюрализма власть, тем не менее, безусловно монополизирована каким-то одним политическим субъектом («движением, партией, „семьей“ или неким лидером»), который контролирует общественные ресурсы как «свое частное владение»: «Государство, так сказать, является источником денег, должностей, общественной информации (через государственные СМИ) и полицейской власти»[28]. В экономике доминируют политически связанные «капиталисты из числа друзей», а государство ослаблено косной бюрократией и крупномасштабной коррупцией.

Каротерс и О'Доннелл предлагают описание, передающее довольно общие черты политической динамики, имеющей место ниже «порога

26. Thomas Carothers, «The End of the Transition Paradigm», *Journal of Democracy*, Vol. 13, No. 1 (2002), p. 5–21 (p. 18).
27. *Ibid.*, p. 10.
28. Ibid., p. 12.

Диаграмма 3. Политика ниже «порога государственности»: «облако меток» серой зоны

неразграниченность **частной** и **общественной** сфер
отсутствие **узаконенной** и **рациональной** **бюрократии**
доминирование **неформальных институтов** над **формальными**
доминирование **партикуляристских** **личных** отношений
низкие **правительственная** **дееспособность** и **политическая**
автономия **государства**
крайняя **концентрация** **власти** и **элит**
хаотическая **фрагментация** **власти** и **элит**
доминирование **центростремительных** сил
доминирование **центробежных** сил
клиентелизм патронаж **непотизм** **патримониализм**
местничество **партикуляризм** **«клановый капитализм»**
коррупция «захват государства»

государственности». В определенной степени они могут отражать то, что происходит выше этого порога, поскольку в обоих случаях мы наблюдаем биполярную структуру политической сферы, базирующуюся на вариациях по линии «свободы». Это обстоятельство привело исследователей к смешению этих черт с их авторитарными и демократическими аналогами, пребывающими в верхней части политического пространства. Однако различия станут очевидными, если мы рассмотрим измерение «государственности». Независимо от уровней свободы и распределенности власти, государство в «серой зоне» слабо, ему — в разных комбинациях — недостает автономии или дееспособности (или того и другого). На Диаграмме 3 это суммируется в «облаке меток»[29] «серой зоны» — группе ключевых терминов, представляющих взаимосвязанные понятия, определения и феномены, которые, согласно анализируемой в настоящей статье литературе, описывают формы соци-

29. Термин «облако меток» заимствован из разработок по «семантической паутине» и часто используется в теориях т. н. Веб 2.0. «Метка» — неиерархическое ключевое слово, приписанное к некоей частице информации. «Облако меток» — визуальный образ, представляющий в форме меток более широкие темы, возникающие из анализа текста. Размер шрифта отражает значимость метки (обычно — частоту использования), а в некоторых случаях форма облака может передавать полярность анализируемой информации, при том, что соответствующие метки образуют кластеры в семантическом поле. Предлагаемое здесь «облако меток» «серой зоны» базируется на литературе, цитируемой в сносках. Оно создано вручную, без участия программ-анализаторов текста, а потому его единственной задачей является графическое отображение семантического пространства предмета исследования.

альных и политических отношений, превалирующих в этом пространстве. Форма, в которой представлено это «облако меток», отражает также биполярность данного пространства.

Теперь нам надо определить в более широкой терминологии типы режимов, чье «нормальное состояние» отражено в метках Диаграммы 3. С этой целью я попытаюсь найти общие категории, которые могли бы соотноситься с двумя полюсами представленного выше «облака», чтобы представить отсутствующие характеристики для III и IV секторов модели политического пространства. Эти категории будут более абстрактными, чем те, которые обычно предлагают. Однако проблема «махинаций с определениями», имеющая место в транзитологии, заключается как раз в произведении разрозненного аналитического ландшафта, по отношению к которому, как представляется, общая категоризация невозможна. «Бесформенный плюрализм» и «политика доминирующей власти» являются приемлемой альтернативой, но, тем не менее, также содержат *ad hoc* элементы, несколько неточные обобщения. Наилучшим способом привнести порядок в хаос (не занимаясь при этом созданием новых сомнительных определений) — это обратиться к истории и историческим аналогиям, как к путеводной нити и источнику вдохновения.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСТОРИИ — НАСКОЛЬКО СИЛЬНОЕ?

Историческое картографирование

В последние годы, чем больше ученые разочаровывались в возможностях транзитологии, тем более сильным становился интерес к историческому измерению сравнительных политических исследований. Как писала Шери Берман об истории политического развития Европы, «понимание ситуаций, имевших место в прошлом, является решающим шагом к помещению современных дискуссий о демократии и демократизации в подобающий интеллектуальный и исторический контекст»[30].

Такой исследовательский план начинается с двух общих вопросов: 1) какая последовательность политических событий (структуры и процессы) привела к формированию старейших европейских демократий? 2) что из этого прошлого опыта может быть полезным для анализа ситуации в странах, которые сейчас называют «переходными». Ответ на эти вопросы подразумевает, прежде всего, историческое картографирование: различение этапов (последовательности) в европейском политическом процессе и выявление ключевых институциональных схем и политических динамик. После этого современные «переходные» режимы могут быть помещены на карту по аналогии с одним из этих этапов развития. Если работа будет проведена должным образом, результаты помогут исследователю оценить объективные

30. Sheri Berman, «How Democracies Emerge: Lessons from Europe», *Journal of Democracy*, Vol. 18, No. 1 (2007), p. 28–41 (p. 30–31).

вызовы, с которыми сталкиваются лидеры «переходных» стран, и возможные траектории изменений их режимов. Это непростая операция, поскольку необходимо избегать ловушек анахронизма и исторического детерминизма. Однако полное игнорирование истории как эвристического инструмента является лекарством куда худшим, чем сама болезнь[31]. Как писал Чарльз Тилли в одной из своих работ, хотя попытка предсказать будущее не-европейских стран на основании европейского прошлого сопряжена с большими трудностями, «тщательное исследование европейского опыта сослужит нам хорошую службу»[32].

Некоторые исследования по этому предмету проходят под общим названием «секвенциализма»[33]. У этого подхода имеются как достоинства, так и недостатки. Достоинства заключаются в том, что секвенциализм помещает в центр анализа государственное строительство, признавая, что формирование современного государства было главной составляющей европейского политического развития и существенным условием для построения демократии. Секвенциалисты также подчеркивают значительную длительность и крайнюю насильственность этого процесса, что помогает занять более реалистическую позицию в отношении времени и издержек (если не возможности), которые потребует экспорт демократии. Пример России здесь вполне уместен: «Царская Россия не была современным государством», подчеркивают Ричард Роуз и Дох Чул Шин в продуктивной секвенциалистской статье; не был им и Советский Союз — как в эпоху Сталина, так и в эпоху «либерализации в брежневском стиле». «Если принять во внимание наследие советского „анти-современного“ государства, то сегодня мы должны ожидать, что Российской Федерации потребуется пройти долгий путь к полной демократии — в силу критической слабости атрибутов современного государства»[34].

Недостатки секвенциализма связаны с тем, что именно большинство его сторонников подразумевает под государством, а также с довольно ограниченным историческим промежутком, используемым для анализа государ-

31. См. Paul Pierson, *Politics in Time: History, Institutions, and Social Analysis* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 2004). Обзор, противопоставляющий «краткосрочное» «долгосрочному» в области сравнительных исследований демократизации, см: Bunce, «Comparative Democratization».
32. Charles Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime», in Evans, Rueschemeyer and Skocpol (eds), *Bringing The State Back In*, p. 169-1-91 (p. 169).
33. См. дебаты о «последовательности» («sequencing»): *Journal of Democracy*, Vol. 18, No. 1 (2007) and No. 3 (July 2007). Первый том включает: Thomas Carothers, «The „Sequencing“ Fallacy» (p. 12–27), and Sheri Berman, «Lessons from Europe» (p. 28–41). Второй том включает: Edward D. Mansfield and Jack Snyder, «The Sequencing „Fallacy“» (p. 5–9); Francis Fukuyama, «Liberalism versus State-Building» (p. 1–13); Sheri Berman, «The Vain Hope for „Correct“ Timing» (p. 14–17); Thomas Carothers, «Misunderstanding Gradualism» (p. 18–22).
34. Richard Rose and Doh Chull Shin, «Democratization Backwards: The Problem of Third Wave Democracies», *British Journal of Political Science*, Vol. 31, No. 2 (2001), p. 331–354 (p. 337); отсылка к: Сэмюель Хантингтон, *Третья волна. Демократизация в конце XX века*. М.: РОССПЭН, 2003.

ственного строительства. То, что секвенциалисты рассматривают как предварительное условие демократии, является специфической исторической формацией: либеральное государство Европы XIX в. И, опять-таки, Роуз и Шин ясно подчеркивают этот момент, отождествляя «современное государство» и *Rechtsstaat* — рационально-правовое государство, действующее в «безличном, правовом, бюрократическом ключе», и, даже не будучи еще демократическим, опирающееся скорее на власть закона, «нежели на власть произвольных решений правителя или его доверенных лиц»[35]. Соответственно, секвенциализм фокусируется на фактически либеральной истории «первой волны» демократизации. Он начинает с ситуации, в которой европейские абсолютные монархии достигли пика своего развития, были ниспровергнуты или оказались под серьезной угрозой, и, наконец, перешли в новое состояние. Затем наступает длительный период, в течение которого современные национальные государства обрели невиданную силу, утвердив монополию на насилие и укрепив возможности по эффективному управлению всеми своими территориями. В то же самое время, правители постепенно приняли базовые принципы власти закона и разработали институциональные механизмы подотчетности правительства, с целью включить в политический процесс, по меньшей мере, наиболее могущественные социальные элиты. К тому моменту, когда олигархические, конституционные монархии были вынуждены предоставить всеобщее избирательное право (мужскому) населению, государство уже надежно контролировало управляемых (там, где этого не было, демократия нередко давала сбои). Тем не менее, потребовалось несколько десятилетий и две разрушительные мировые войны, прежде чем демократия окончательно оформилась в Западной Европе.

Неудивительно, что именно такая последовательность событий доминировала в умах некоторых советологов в конце 1980-х, когда они говорили о преждевременности полной демократизации и советовали Михаилу Горбачеву «установить авторитарный конституционализм (или либеральный авторитаризм, если угодно) и создать полудемократическую законодательную власть по типу той, которая имела место на Западе в XVIII–XIX вв.»[36]. Стандарт секвенциалистов был (и остается) таким: сначала *Rechtsstaat*, затем демократия[37].

Проблемы этого подхода обусловлены не столько исторической точностью используемой карты, сколько ее темпоральной ограниченностью. Фокусируясь на том, как европейские государства стали государствами с властью закона, он рассматривает только конечный пункт куда более долгой истории. Как следствие, советуя «переходным» странам идти путем «первой волны» европейской демократизации, секвенциалисты, судя по всему, считали «государственность» (т. е. наличие сильного, автономного и дееспособного государства) чем-то уже данным; они не принимали во внимание, что многие из таких стран могут оказаться достаточно далеко от «порога государственности» и потому вообще не способны к успешному прохождению стадии построения *Rechtsstaat*. Их карта просто не была рассчитана на эти случаи. Поэтому она мало чем могла помочь при анализе отсутствия государства и в определении того, как политика работает внутри «серой зоны» и какие траектории могут, в конечном счете, из нее вывести. Если говорить о нашей модели, то секвенциализм может помочь рассмотреть в исторической перспективе секторы, которые находятся *над* «порогом государственности», акцентируя внимание на том, что переход Европы к демократии осуществлялся в этой части политического пространства посредством движения из сектора I в сектор II. Это предполагает, что пока политический режим не выйдет из «серой зоны» и не пересечет порог, строительство демократии может быть преждевременным и даже опасным. Однако секвенциализм не говорит нам почти ничего о том, как этот порог был преодолен европейскими странами, вследствие чего у нас остается ложное впечатление, что построение государства тождественно построению либерального *Rechtsstaat*.

35. *Ibid.*, p. 343, 333.
36. Jerry F. Hough, *Democratization and Revolution in the USSR, 1985–1991* (Washington, DC: Brookings, 1997), p. 141.
37. См., напр.: Фарид Закария. *Будущее свободы: нелиберальная демократия в США и за их пределами*. М.: Ладомир, 2004.

Поясним этот момент двумя парадигмальными примерами. Первый. Франция начала XVII в.: монархия все еще испытывает недостаток как автономии от могущественных элит, так и монополии на насилие и способности навязывать закон на всей территории. В этой ситуации «либеральная стратегия» существенно подорвала бы процесс государственного строительства. Единственное, чего можно ожидать от такой попытки ограничить и без того неадекватную силу политического центра — так это не менее ретроградное движение Фронды: бунт принцев и баронов, защищающих свои древние, средневековые «свободы», или привилегии. Второй пример. Еще более отдаленная эпоха, X в.: феодальная пирамида перестала существовать как инструмент правительства и Каролингская империя распалась. При такой ситуации, когда вассалы и военачальники разорвали на части центральное правительство, присвоили себе государственную власть и начали бороться друг с другом в бесконечных феодальных междоусобицах, говорить о «свободах» и «правах» — значит говорить о разгосударствливании.

В этих двух примерах, общества, находящиеся в «серой зоне» на значительном расстоянии от «порога государственности», едва ли могли осуществлять «государственное строительство», тождественное строительству современного либерального *Rechtsstaat*. Функциональные потребности этих обществ, равно как и альтернативы, доступные их правителям, обусловливали на самом деле куда более примитивные, всегда агрессивные и иногда брутальные процессы накопления власти, благодаря которым на месте феодальной раздробленности возник монархический абсолютизм. Ввиду того, что принятие таких процессов во внимание может помочь понять современный «переходный период», особенно в странах бывшего СССР и, в частности, в России, наша карта политического развития Европы должна быть значительно расширена во времени.

Аналогия с феодализмом

В области исследований России наиболее полный набор исторических сравнений, которые отсылают к далекому прошлому и вращаются вокруг понятий «государственности» и «безгосударственности», обнаруживается в «феодальной модели» Владимира Шляпентоха. Эта модель является не столько частью большей по размерам карты, сколько веберианским «идеальным типом». Ее главной задачей является объяснение типов социальной организации и моделей политического поведения, которые сохраняются в течение столетий и могут быть обнаружены в любом обществе, но не могут быть полностью объяснены при помощи иных моделей, включая авторитарную и либерально-демократическую[38]. Таким образом, модель Шляпентоха более амбициозна, чем наши исторические аналогии, хотя, в то же самое время, она может приносить историческую точность в жертву когерентности социологического идеального типа. Тем не менее, она весьма успешна для решения своей главной задачи—описания ельцинской России как общества, опустошенного экстенсивной «приватизацией» государственной власти, экстремальным регионализмом и «невыносимой слабостью государства»[39]. Более того, маркируя свой идеальный тип таким исторически нагруженным термином, как феодализм, Шляпентох справедливо указывает на большее расстояние от континуума «авторитаризм-демократия», чем то, которое могли бы предположить секвенциалисты, и то, которое согласились бы принять сторонники транзитологии. Наконец, хотя и не в последнюю очередь, общие характеристики, отождествляемые с феодальной моделью, почти полностью совпадают с большинством понятий, содержащихся в «облаке меток» «серой зоны», и вполне вписываются в сектор IV нашей модели.

Мы можем экстраполировать из модели Шляпентоха три определяющие институциональные характеристики феодализма, которые критически важны для нашей аргументации: а) наличие фрагментированных, конфликтующих друг с другом центров власти в контексте нехватки у государства как возможности принуждения, так и политической автономии перед лицом

38. Владимир Шляпентох. *Современная Россия как феодальное общество*. М.: Столица-Принт, 2008; у того же автора см. также: «Early Feudalism: The Best Parallel for Contemporary Russia», *Europe-Asia Studies*, Vol. 48, No. 3 (1996), p. 393–411; «Hobbes and Locke at Odds in Putin's Russia», *Europe-Asia Studies*, Vol. 55, No. 7 (2003), p. 981–1007. Критический обзор ранних работ Шляпентоха по данному предмету: Roger D. Markwick, «What Kind of State is the Russian State—If There is One? », *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, Vol. 15, No. 4 (1999), p. 111–30. Хотя по данной теме имеется только одна систематическая работа (упомянутая работа Шляпентоха), отсылки к феодализму при анализе ситуации в современной России, особенно эпохи Ельцина, не являются редкостью. См., напр.: Richard E. Ericson, «The Post-Soviet Russian Economic System: An Industrial Feudalism? », *BOFIT Online*, No. 8 (2000), p. 4–25, www.bof.fi/NR/rdonlyres/2E8B0D1E-03BB-47FD-B69F-8FC52 332 028E/0/bono800.pdf. accessed 21 Sept. 2008; из наиболее новых: Oxana Gaman-Golutvina, «Changes in Elite Patterns», *Europe-Asia Studies*, Vol. 60, No. 6 (2008), p. 1033–1050.

39. Михаил Афанасьев. Невыносимая слабость государства. *Отечественные записки*. No. 2 (2004). С. 4.

частных интересов и локальных элит; б) сложная смесь богатства и власти, которые равным образом рассматриваются как ресурсы, эксплуатируемые в частных интересах, что порождает такие феномены, которые в современной терминологии обозначались бы как политическая коррупция и «захват государства»; в) патримониальная небюрократическая система управления, основанная на личных связях взаимной зависимости—отношения «сюзерен-вассал» в форме «клиентелизма».

Соответственно, исторический нарратив, лежащий в основе аналогии с феодализмом, вращается вокруг ключевого политического процесса—приватизации государственной власти вассалами короля и, соответственно, ослабления центрального контроля над бывшими королевскими чиновниками, местными сеньорами и влиятельными рыцарями. Вассалы изначально получали свою власть и богатство за государственную службу. В обмен на политическую лояльность и военную помощь короли и властители брали их под свое покровительство и наделяли—в качестве пожизненного вознаграждения—участками земли, с которых те получали личный доход и над которыми обладали властью (военной, судебной и фискальной). Карл Великий пытался сделать из этой системы регулярный механизм централизованного управления Священной Римской Империей, даже усилив ее институтом *missi dominici* (посланцев государевых), т. е. централизованно отбираемых королевских представителей в провинциях. Однако в течение нескольких десятилетий после смерти императора вассалы и их семьи добились того, чтобы их фьефы стали наследственными владениями (*patrimonium*), что ослабило связь между держанием земли и политической лояльностью. Когда государственная власть была захвачена и разделена между местными синьорами, сами *missi* стали вовлекаться в сеть частных интересов, актуально доминировавших в провинциях. В центробежных процессах разгосударствливания феодальная пирамида управления распалась на мириады вооруженных клиентел, по сути дела, на банды военных лидеров, которые правили сельской местностью из своих укрепленных замков, обеспечивали покровительство своим клиентам и вели войны с враждебными кланами. Все это привело к падению авторитета монаршей власти, которая теперь была разделена между «различными политическими субъектами, которые действовали в своих собственных интересах, используя власть, которая обычно была монополизирована государством»[40]. Каролингское «государство» было поглощено «феодальным обществом», и больше не было такой внешней силы, которая могла бы им управлять (если такая сила вообще когда-нибудь была). Тем не менее, феодальный социальный порядок сохранялся в течение столетий. Связи «клиент-патрон», основанные на верности и покровительстве, личный авторитет и патримониальное, собственническое отношение к правительству, частные войны и вооруженная защита «прав, привилегий и свобод»—все это настолько же является признаками «феодальной анархии», насколько наблюдается и в специфических социальных институтах

40. Шляпентох. *Современная Россия как феодальное общество*. С. 30.

такого политического строя, где центральная власть слаба или отсутствует, а современная дихотомия «частное-публичное» распознается с трудом.

Наша аналогия с феодализмом, таким образом, должна описывать ситуацию, в которой «частное» и «периферия» (в этом контексте данные термины являются практически синонимами) превалируют над центральной государственной властью благодаря присвоению ее *auctoritas* и ослаблению ее способности к принуждению. Более того, в такой ситуации сильной фрагментации, правительство — по причине доминирования клиентелизма и личных отношений — делается неспособным осуществлять политическую интеграцию и актуально стимулировать центростремительную динамику.

ЕЛЬЦИНСКАЯ ФЕОДАЛЬНАЯ РОССИЯ: ПРЕДПОСЫЛКИ И СЛЕДСТВИЯ

За феодализацию России ответственны главным образом две группы действующих субъектов, представителей которых, как правило, именуют «олигархами» и «магнатами».

Олигархи и связка «экономика-политика»

Термин «олигарх» обычно употребляется по отношению к довольно небольшой группе банкиров и промышленников, которые получили выгоды от приватизации и установили — полулегальными и нелегальными способами — контроль над крупными промышленными, добывающими, финансовыми и медиа-империями. Хрестоматийным примером «захвата государства» частными интересами является обеспечение олигархами переизбрания Ельцина в 1996 г. и последующее достижение ими пика своей власти в конце 1990-х, когда они «прямо и открыто принимали участие в процессе принятия Кремлем политических решений»[41], подкупая политиков, бюрократов и чиновников, а также используя взятки для получения прямого доступа к вершинам законодательной власти. Как рассказывал западному обозревателю один из них, «я не могу относиться к закону как к чему-то священному, поскольку прекрасно знаю, сколько денег дал парламентариям, чтобы этот закон был одобрен парламентом. Более того, я прекрасно понимаю, что если кто-то другой даст тем же парламентариям еще больше денег, то закон изменят... Я убежден, что вся политическая элита разделяет такой же правовой нигилизм»[42].

41. Shlapentokh, «Hobbes and Locke», p. 989. Более подробно о «феномене олигархов» в эпоху Ельцина см.: Дэвид Хоффман. *Олигархи. Богатство и власть в новой России*. М.: КоЛибри, 2007; Peter Reddaway and Dimitri Glinski, *The Tragedy of Russia's Reforms: Market Bolshevism Against Democracy* (Washington, DC: US Institute of Peace, 2001); Стивен Фортескью. *Русские нефтяные бароны и магнаты металла: Олигархи и государство в переходный период*. М.: Столица-Принт, 2008.
42. Цит. по: Virginie Coulloudon, «Vladimir Putin's Vertical State and the Embryo of a Horizontal Opposition», *Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization*, Vol. 8, No. 4 (2000), p. 421–438 (p. 431).

Данный феномен не ограничивался горсткой могущественных людей в Москве. Он распространялся на широкие круги предпринимательского класса, на «клановых капиталистов», которые действовали через свои политические связи в обстоятельствах, когда, как заметил Стивен Уайт, «нередко было непросто отличить частное владение от владения государства, которое контролировалось теми же людьми и управлялось сообразно их коллективным интересам»[43].

Кроме того, смешение экономики и политики, которое возникло в этой форме в период правления Ельцина, имело интересные предпосылки в советскую эпоху. Несмотря на отсутствие права на частную собственность в СССР, у российских олигархов имелись предшественники в лице советских промышленных управленцев и директоров. Большая часть крупных промышленных предприятий, которые были приватизированы в 1990-е, обладала весьма специфической связью с близлежащими территориями: жизненно важная общественная инфраструктура, жилищное хозяйство, социальные службы и коммерческие услуги в значительной степени обеспечивались предприятиями. Для управления такими предприятиями их директора получали прямой доступ к средствам центральных министерств, которыми не могли пользоваться местные партийные комитеты и гражданские администрации. Это давало директорам возможность управлять целыми промышленными областями как своими «фьефами», принимая непосредственное участие в их экономической, социальной и административной жизни, влияя на карьерное продвижение партийных и государственных чиновников, которые зависели от возможностей директоров добывать дополнительные средства для осуществления местных проектов. Западные аналитики называли этот советский феномен «городами при компаниях». В его центре находились взаимосвязанные группы сетей, осуществлявших внеплановый обмен и снабжение. Эти сети формировались внутри административно-командной системы и функционировали на основе личных отношений, часто создавая условия для полулегального и незаконного поведения, которое простиралось от blat'a (взятка или подарок) до прямой коррупции. Эти неформальные клиентские связи играли важную роль в выполнении плана, спускаемого из Москвы, но в то же время создавали немалые возможности для теневой местной инициативы, избегавшей контроля из центра.

При приватизации бывшие советские промышленники унаследовали вместе с предприятиями и значительное число «государственных» функций: они строили или выделяли средства на «школы, больницы, магазины и другие объекты», получая возможность на этом основании контролировать

43. Stephen White, «Rethinking Postcommunist Transition», Government and Opposition, Vol. 38, No. 4 (2003), p. 417–35 (p. 424); см. также: David Lane, «What Kind of Capitalism for Russia? A Comparative Analysis», *Communist and Post-communist Studies*, Vol. 33, No. 4 (2000), p. 485–504.

«целые города и регионы»[44]. Они также брали на себя ключевые «правительственные» функции на своих территориях, такие как защита собственности и общественного порядка. Для этого они создавали «частные охранные агентства, напоминающие частные феодальные армии»[45], которые могли предоставлять разным группам населения «крышу», или покровительство, нередко находясь при этом в тесных отношениях (вражды или взаимодействия) с организованной преступностью. Наконец, в условиях демократизации, они пытались приобрести политическую власть, коррумпируя избирательный процесс для того, чтобы «купить» место в Думе или должность губернатора региона. Таким образом, эти «феодальные владыки» обрели «такое влияние на общество, которым обладали региональные магнаты или даже члены центральной администрации»[46]. Когда один из них, могущественный глава ЮКОСа, Михаил Ходорковский, открыто заявил о своем намерении идти на президентские выборы, немедленно стал очевиден ключевой элемент феодализма — смесь богатства и власти. Также стала очевидна и политическая угроза, которую российские олигархи представляли собой для российского государства.

Магнаты и отношения «центр-периферия»

Что касается региональных магнатов, то в случае постсоветской России этот термин употребляется в отношении президентов республик и губернаторов, которые в период правления Ельцина обрели фактическую автономию от центральной власти, представляя тем самым еще большую угрозу для государства, чем олигархи. И, опять-таки, у магнатов, даже еще в большей степени, чем у олигархов, имелись предшественники в СССР. Вопреки мнению Шляпентоха, который не видит «признаков феодализма» в советском «тоталитаризме»[47], я утверждаю, что властные кланы магнатов берут начало в советском местничестве. Официально осуждаемое практически с первых дней большевистского эксперимента, «местничество» в советском политическом дискурсе обозначало наличие неких локальных замкнутых «клик», которые действовали ради обеспечения тех или иных собственных интересов. Их члены использовали возможности, предоставляемые их должностями (нередко злоупотребляя своей властью), и политические связи для того, чтобы вносить нужные изменения в центральные директивы и ограждать себя от центрального контроля. Упомянутые выше неформальные сети промышленников были существенной частью местничества, но феномен распространялся на значительно более широкую структуру отношений «клиент-патрон», охватывающую всю местную номенклатуру

44. Shlapentokh, «Hobbes and Locke», p. 988.
45. *Ibid.*, p. 986.
46. *Ibid.*, p. 988.
47. Шляпентох. *Современная Россия как феодальное общество.* С. 100; см. также: Vladimir Shlapentokh, «The Soviet Union: A Normal Totalitarian Society», *Journal of Communist Studies and Transition Politics*, Vol. 15, No. 4 (1999), p. 1–16.

(в экономической сфере, администрации, юридической системе, СМИ). Работа советской тайной политической машины координировалась партийными боссами, прежде всего, первыми секретарями региональных комитетов — всемогущими, как считалось, «префектами», которые старались угодить Москве, но часто выступали в роли посредников, защищая интересы местных элит благодаря тому, что могли обеспечить патронаж и покровительство из центра[48]. Такие неформальные механизмы десятилетиями функционировали в тени сверхцентрализованной «бюрократической» системы (согласно некоторым историкам[49], так было даже в эпоху правления Сталина). В последние годы Советского Союза Михаил Горбачев объявил феномен «местничества» главным препятствием для «реформы сверху», использовав при этом образ укрепленных средневековых замков, ревностно охраняемых феодальными властителями и их вассалами. В качестве решения он предложил ввести конкурентные выборы — для того, чтобы получить «поддержку снизу» в борьбе против местных властных элит.

Демократизация, однако, не победила местничество, хотя и изменила баланс сил среди его субъектов и способы их действия. Постсоветские региональные элиты быстро начали группироваться вокруг избираемых местных чиновников (включая членов местных и центральных законодательных органов), в то время как роль боссов-посредников, которую некогда играли местные секретари КПСС, перешла к губернаторам. Изначально их власть расценивалась президентом как серьезная угроза. Ельцин — который имел печальный опыт столкновения с могущественными местными элитами еще в середине 1980-х гг., когда безуспешно пытался установить контроль над московскими структурами — попытался приостановить проведение местных выборов и трансформировать институт губернаторов в институт представителей президента. Длительная конфронтация с парламентом, завершившаяся вооруженными столкновениями в октябре 1993 г., также была частью конфликта между центральными и периферийными элитами.

Впрочем, скоро Ельцин понял, что его единственным выбором является непрямое управление через местные элиты — в условиях слабости государства и распада параллельных партийных структур, которые раньше более или менее успешно координировали отношения «центр-периферия». Он, таким образом, был вынужден пойти на «сделку Фауста»: в обмен на политическую лояльность (поддержка на референдуме 1993 г. и на президентских выборах 1996 г.) региональные боссы получали свободу действий в своих регионах. Помимо выгод от прямого доступа через Совет Федерации к при-

48. Я задокументировал постоянное недовольство представителей советских центральных органов управления, от Ленина до Горбачева, состоянием отношений «центр-периферия» в своей статье «Changing Leadership Perspectives on Centre-Periphery Relations», in David Lane (ed.), *Elites and Political Power in the USSR* (Aldershot: Edward Elgar, 1991), p. 238–53.
49. О сталинском периоде см. J. Arch Getty, *Origins of the Great Purges: The Soviet Communist Party Reconsidered, 1933–1938* (Cambridge: Cambridge University Press, 1985).

нятию решений в центре, они могли теперь контролировать региональные и парламентские выборы и, наконец, добились решительной победы, когда их должности опять стали выборными. Усилившись благодаря этой новой «демократической легитимности», магнаты сделались подлинными хозяевами в своих «фьефах»[50].

Здесь они находились в центре сложной паутины отношений «клиент-патрон», опутывающей региональную бюрократию и представителей центральной администрации на местах. Их должности были, как говорит Шляпентох, «приватизированы» в двух смыслах: с одной стороны многие из них были просто «куплены», с другой стороны, они часто использовались как инструменты личного обогащения официальными лицами, которые вели себя как «арендодатели», «распределяя различные привилегии тем, кто мог их себе позволить», включая «все виды официальных разрешений и документации, от лицензий до свидетельств о рождении—все, что можно было продать»[51]. Присвоение государственных должностей с целью получения прибыли—еще одна типичная черта феодализма—было тем пунктом, в котором сходились интересы магнатов-арендодателей и олигархов-арендаторов: первые наделяли последних «лицензиями на международную торговлю, налоговыми льготами, дешевыми кредитами и устранением конкуренции при продаже государственной собственности» в обмен на наличные, акции, квартиры, предметы роскоши и финансирование избирательных компаний[52]. Более того, магнаты контролировали приватизацию в зоне своей юрисдикции и подходили к ней в типичном неопатримониальном ключе: они приобретали (непосредственно или через членов своих семей) наиболее прибыльные активы и использовали свою власть для покровительства своему семейному бизнесу. Конечно, в этом смысле граница между политикой и экономикой, частным и общественным полностью размывалась, и магнаты вступали в конкурентную борьбу с олигархами. Последние, как уже говорилось выше, отвечали тем, что пытались сами приобрести должности уровня губернаторских. Это объясняет некоторые особенности региональных выборов эпохи Ельцина, когда избирательные кампании «использовались враждующими фракциями олигархов и магнатов для того, чтобы показать, кто из них сильнее и, соответственно, наиболее достоин того, чтобы быть „избранным“» (при этом в качестве поддержки нередко привлекались конкурирующие криминальные группировки)[53].

50. Об отношении «центр-периферия» в эпоху Ельцина см. Kathryn Stoner-Weiss, *Local Heroes: The Political Economy of Russian Regional Governance* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997); Cameron Ross (ed.), *Regional Politics in Russia* (Manchester: Manchester University Press, 2002); Andrew Konitzer, *Voting for Russia's Governors: Regional Elections and Accountability under Yeltsin and Putin* (Baltimore, MD, The Johns Hopkins University Press, 2005).
51. Shlapentokh, «Hobbes and Locke», p. 987.
52. *Ibid.*, p. 989.
53. *Ibid.*, p. 992.

ПУТИН: ОТ ФЕОДАЛИЗМА К АБСОЛЮТИЗМУ

Именно такой была ситуация в России, когда в 1999 г. Владимир Путин был назначен премьер-министром. Согласно Индексу демократии *Freedom House* страна, тем не менее, все еще квалифицировалась как «переходный к демократии» режим. Десять лет спустя Путин вновь становится премьер-министром, имея за плечами два президентских срока, и *Freedom House* помещает Россию на границе между частично- и полностью авторитарными режимами. Что же случилось за это время? Безусловно, в эпоху Ельцина российское общество было свободнее, чем теперь, но крайне слабое государство было весьма плохим кандидатом на переход к демократии. Однако справедливо и то, что для квалификации России как авторитарного режима, снижения уровня свобод, хоть и очевидного, все же недостаточно: уровень государственности должен быть существенно выше, чем раньше—как в том, что касается автономности, так и в том, что касается дееспособности. Так ли обстоят дела в данном случае?

Транзитология постоянно подчеркивает, что за последнее десятилетие в России произошел фундаментальный сдвиг от свободы к «возвращению к государству». Ирония в том, что и сам Путин намекал на это же с самого начала своего президентства. Вводя в общественно-политический дискурс такие выражения как «вертикаль власти», «диктатура закона», и «управляемая демократия», он неявно указывал на сдвиг от свободы к государственности[54]. По сути дела, политическая риторика Путина находилась в русле российской традиции «государственности» и выглядела как призыв положить конец центробежному разгосударствливанию постсоветского периода посредством мощной централизации власти и решительного навязывания закона и порядка.

Однако президентство Путина можно представить по-разному. Безусловным фактом является концентрация власти в двух важнейших областях ельцинского наследия: в области отношений «центр-периферия» и связи «бизнес-политика». Но с одной точки зрения произошел радикальный отказ от недавнего прошлого, поскольку Путин стал успешным строителем сильного, авторитарного государства, надежно контролирующего российское общество. Другая же точка зрения предполагает, что Путин боролся за восстановление политического суверенитета, иногда применяя силу, но чаще идя путем переговоров и компромиссов с наиболее важными социальными субъектами (в экономике и на периферии), чтобы сохранить их поддержку. Согласно последней интерпретации, изменения были значительны, но они имели место в пространстве ниже «порога государственности», внутри политической «серой зоны»—так же, как при переходе от феодализма к абсолютизму ранней Современности. Далее мы кратко рассмотрим обе эти точки зрения.

54. См., напр., программную речь Путина «Россия на рубеже тысячелетий» (*Независимая газета*. 30 декабря 1999 г.).

Авторитарный правитель?

Силовая риторика, как кажется, вполне соответствовала первым впечатляющим действиям, которые были предприняты Путиным с целью лишить независимой власти две главные группы, обусловившие феодализацию. Когда во время президентской кампании 2000 г. он произнес страшную угрозу «ликвидировать олигархов как класс», не осталось незамеченным, что это почти дословная цитата из Сталина, обещавшего уничтожить как класс кулаков[55]. Не остался незамеченным и ряд публичных оскорблений, угроз, *ad hoc* полицейских разбирательств и судебных преследований, которые были обращены против нескольких влиятельнейших олигархов ельцинской эпохи. Их безжалостно выдавили из бизнеса, а гигантские промышленные и финансовые активы и медиа империи перешли под контроль государства. Некоторые олигархи были вынуждены эмигрировать, а в 2003 г. печально известный глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, который публично поддерживал антипутинские силы и объявил о своем намерении идти на президентские выборы, был арестован и обвинен по нескольким статьям, включая уклонение от налогов, мошенничество и коррупцию. Явным образом, термин «диктатура закона» следовало бы понимать не как «правление закона», а как *raison d'état*.

В это же время началась массированная атака по оси «центр-периферия». Российская Федерация была реорганизована в семь федеральных округов, которые были доверены полномочным представителям президента, или полпредам. Пять из них были генералами, а более трети их замов имели армейское прошлое или служили в органах безопасности. Полпреды централизовали контроль над региональным отделениями служб безопасности и охраны закона, чей персонал ранее оказался под неформальным влиянием губернаторов регионов[56]. Последние, с другой стороны, были выведены из Совета Федерации, утратили свой парламентский иммунитет и стали уязвимы для судебного преследования. Наконец, в 2004 г. были отменены прямые выборы губернаторов: теперь назначения происходили согласно представлению президента и утверждались региональными Советами под угрозой роспуска. Если принять во внимание, что ключевую роль в прямых выборах играли различные манипуляции, позволявшие региональным магнатам крепко держать свою власть, то такое публичное отступление от выборной демократии было необходимым компонентом вертикали власти.

Такое направление в развитии сопровождалось важными изменениями как в элитах, так и на организационном уровне. На политической сцене появилась новая элита клиентов Путина — «клан силовиков» — люди, которые ранее служили в армии или органах безопасности (включая бывших военных, разведчиков, представителей силовых министерств и управленцев ВПК)[57]. Основу этой элиты составили те, кто наработал личные связи с Путиным во время его деятельности в Ленинграде (Санкт-Петербурге). В первые годы нового президентства наблюдалась «настоящая миграция» этих людей в центральные правительственные ведомства, региональные администрации и контролируемые государством корпорации[58]. Путинская «милитократия» полностью соответствовала его риторике о законе и порядке и была инструментом подавления олигархов и распространения контроля центра на регионы. Эта сеть также помогла добиться большого организационного успеха — создания «партии власти» («Единая Россия»), политической машины, способной установить контроль над избирательным процессом по всей стране. Это обеспечило решающее пропрезидентское большинство в парламенте и контроль над региональными Советами, положив конец институциональному противостоянию ельцинского периода и восстановив элементарный порядок во взаимоотношениях «центр-периферия»[59]. «Единая Россия», естественно, стала хрестоматийным примером «управляемой демократии».

Как суммируют Ольга Крыштановская и Стивен Уайт, послание Путина стране было очевидным: «Новый режим занимается восстановлением государственной власти после периода, когда она была приватизирована чиновниками и бизнесменами. В этом новом социальном порядке нет места для оппозиции, выборов с непредсказуемым результатом и независимым нуворишам»[60]. Что скрывалось за фасадом восстановленной «государственной власти» — это уже другой вопрос, и здесь следует обратиться ко второй из указанных ранее точек зрения.

Путин как строитель «досовременного» государства

Отношения «центр-периферия» являются ключевым моментом в любом опыте государственного строительства, и именно они занимали первое место в повестке дня Путина. Несмотря на крайне конфликтную ситуацию предшествующего периода, а также на накопленную Путиным значитель-

55. Ричард Саква. *Путин. Выбор России*. М.: Олма-Пресс, 2006. С. 100.
56. Olga Kryshtanovskaya and Stephen White, «Putin's Militocracy», *Post-Soviet Affairs*, Vol. 19, No. 4 (2003), p. 289–306 (p. 300).

57. За годы правления Путина появилось несколько работ о «силовиках»: Kryshtanovskaya and White, «Putin's Militocracy», p. 289–306; Olga Kryshtanovskaya and Stephen White, «Inside the Putin Court: A Research Note», *Europe-Asia Studies*, Vol. 57, No. 7 (2005), p. 1065–1075; Pavel K. Baev, «The Evolution of Putin's Regime: Inner Circles and Outer Walls», *Problems of Post-Communism*, Vol. 51, No. 6 (2004), p. 3–13; Sharon Werning Rivera and David W. Rivera, «The Russian Elite Under Putin: Militocracy or Bourgeois? », *Post-Soviet Affairs*, Vol. 22, No. 2 (2006), p. 125–144; Ian Bremmer and Samuel Charap, «The Siloviki in Putin's Russia: Who They Are and What They Want», *The Washington Quarterly*, Vol. 30, No. 1 (Winter 2006–2007), p. 83–92.
58. Kryshtanovskaya and White, «Putin's Militocracy», p. 303.
59. См. Thomas F. Remington, «Presidential Support in the Russian State Duma», *Legislative Studies Quarterly*, Vol. 31, No. 1 (2006), p. 5–32.
60. Olga Kryshtanovskaya and Stephen White, «The Rise of the Russian Business Elites», *Communist and Post-Communist Studies*, Vol. 38, No. 3 (2005), p. 293–307 (p. 306).

ную власть, большинство губернаторов сохранило свои должности. Что, вероятно, еще более важно, президент «никогда не смещал губернаторов за ошибочные или незаконные действия, которые они совершали в своих регионах... те же губернаторы, которые были уволены... демонстрировали свою нелояльность или просто не вызывали доверия»[61]. Как представляется, Путин не хотел (или даже не мог) создать бюрократическую, юридическую и институциональную систему, посредством которой современное государство осуществляет прямое правление на периферии. Если принять во внимание ту ситуацию, которую он унаследовал, то «вертикаль власти», которую он хотел установить, подразумевала лишь элементарный политический контроль. Будучи зависимыми от президентского назначения, инспектируемые полпредами и их федеральными агентами, лишенные парламентского иммунитета и выборов как основы независимой власти, губернаторы теперь не столь склонны к неподчинению центру, как то имело место в эпоху Ельцина. Но, тем не менее, они все еще необходимы для поддержания общественного порядка на их территориях и для обеспечения должных результатов на президентских и парламентских выборах. Их властные и патронажные сети все еще работают; теперь они, правда, используются в качестве механизмов национальной интеграции, но их потенциал к сопротивлению и неподчинению во многих политических сферах еще значителен, особенно если говорить о богатейших регионах[62]. Переговоры между центром и регионами идут практически по тому же сценарию, которому Ельцин следовал в 1990-х, утратив в результате контроль над ситуацией: как представляется, за кажущейся сверхцентрализацией Путина скрывается все то же наделение регионов фактической—в определенных пределах—автономией в обмен на политическую лояльность и социальную стабильность. Теперь, однако, это происходит в контексте, когда политический центр (если не «государство» в своей рационально-бюрократической форме) контролирует, по меньшей мере, высшие уровни власти и патронажа. Как абсолютистский правитель, Путин нуждается в покорных, но не в слабых магнатах.

Это станет еще более очевидным, если рассмотреть связь «бизнес-политика», которая имеет сильное влияние на отношения «центр-периферия». Несмотря на старые заявления президента, как только определенное число «алчущих власти» олигархов было устранено, для всей остальной бизнес-элиты девизом стали лояльность и сотрудничество, а не конфронтация, не говоря уже о классовой войне. В эпоху Путина, особенно в регионах, пустило корни новое поколение бизнесменов, которые не столь амбициозны политически, как их предшественники, и которые принимают правила игры. Тем не менее, в обмен на поддержку политики Путина и на сохранение политической субординации правительство закрывает глаза на то, каким образом эти бизнесмены сколотили свои состояния и откуда они получают свои доходы. Что наиболее важно, им было позволено построить «региональные империи», в рамках которых их возможности влиять на политический процесс существенно возросли. В своем исследовании 2005 г. Роберт Орттунг пишет о корпорациях, которые обладают мощным влиянием во многих регионах, чаще используя при этом неформальные личные связи с местными чиновниками, нежели формальные институциональные каналы: ситуация, которую «часто связывают с ростом преступлений и коррупции»[63]. Орттунг выделяет несколько моделей отношений «бизнес-политика», среди которых наиболее значимыми являются: а) «регионы корпораций», в которых одна корпорация осуществила «захват государства»; б) «плюралистические регионы», где существуют несколько крупных предприятий, а местные власти выступают в роли посредников между ними; в) «регионы, контролируемые государством» (sic!), где доминируют корпорации, управляемые из центра, или ВПК, или губернаторы, которые лично владеют или контролируют значительные промышленные или финансовые активы[64]. Орттунг заключает, что попытки Путина «деприватизировать» правительство и сокрушить «индустриальный феодализм» эпохи Ельцина ограничивались верхними уровнями национальной политики. В общем и целом, «несмотря на заявленное Путиным желание изменить методы функционирования политической системы, ее существенные элементы остались преимущественно прежними... Путин часто говорит о необходимости построения сильного государства, но его действия, возможно, даже ослабляют государство и наделяют властью хищные корпорации»[65]. Хищные, конечно, но все-таки политически лояльные, а именно это и было главной целью Путина. До тех пор пока они соблюдают «новый социальный порядок» и играют по его правилам, российские бизнесмены могут лоббировать свои интересы по разным каналам: от Российского союза промышленников и предпринимателей до их личных политических связей и патронажных сетей. Они могут даже избираться в парламент и местные Советы, используя свое богатство и обретая все большее влияние и власть—если только они делают это в рамках «партии власти», а не независимо, как раньше. Это, опять-таки, является свидетельством появления сильного политического центра, что не необходимо является синонимом сильного государства.

«Лояльные и хищные»—этот ярлык можно повесить и на столь часто превозносимую элиту «силовиков». В реальности они мало напоминают созданный ими самими образ не имеющих личных интересов, аполитичных чиновников, лояльных только государству и национальным интересам. Самый верхний слой элиты—люди, входящие в Администрацию Президента и правительство—потихоньку стал контролировать государственные

61. Шляпентох. *Современная Россия как феодальное общество*. С. 123.
62. См.: Kathryn Stoner-Weiss, «Resistance to the Central State on the Periphery», in Timothy J. Colton and Stephen Holmes (eds), *The State After Communism: Governance in the New Russia* (Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2006) p. 87–120.

63. Robert W. Orttung, «Business and Politics in the Russian Regions», *Problems of Post-Communism*, Vol. 51, No. 2 (2004), p. 48–60 (p. 57); S. Andrew Barnes, «Russia's New Business Groups and State Power», *Post-Soviet Affairs*, Vol. 19, No. 2 (2003), p. 154–186.
64. Orttung, «Business and Politics», p. 54–56.
65. *Ibid.*, p. 51, 59.

предприятия в наиболее доходных сферах — энергетике, транспорте, ВПК, добывающей промышленности и т. д. Более того, тысячи бывших офицеров из армейских структур и органов госбезопасности получили работу в частном секторе. «Силовики», ставшие бизнесменами, сформировали «некий тип братства, основанного на взаимопонимании и взаимопомощи», который оказывается еще более эффективным постольку, поскольку они сохранили контакты со своими все еще находящимися на службе коллегами[66]. Патронажные сети, контролируемые «силовиками», включающие их родственников и друзей, являются инструментами как политического продвижения, так и личного обогащения. Случаи, о которых в последнее время сообщает российская пресса, свидетельствуют о том, что они используют свое влияние в Кремле, аппарате госбезопасности, финансовом и деловом мире для приобретения прибыльных активов посредством инсайдерских сделок, рейдерских захватов или открытых конфискаций фирм, испытывающих финансовые трудности или проблемы с законом. Этот феномен, который стал известен в России как «бархатная реприватизация», корректно интерпретируется одним западным исследователем как санкционированное государством покровительство и рэкет[67]. В общем, новый класс политически связанных бизнесменов, ядром которого являются «силовики», заменил старый класс олигархов, как в центре, так и на периферии. Эти новые бизнесмены приняли более органичный симбиоз политики и денег и, что наиболее важно, на этот раз они действуют «в условиях доминирования политики».

Политическая система работает теперь в рамках более централизованной структуры, где главные уровни контроля находятся в Кремле, а ежедневное функционирование обеспечивается «Единой Россией» при помощи ее подавляющего большинства в Госдуме и разветвленной сети на периферии. Сама «Единая Россия» в основании имеет конгломерат местных политических машин, задачей которых является обеспечение максимальной активности сторонников во время выборов, а на вершине «механизм извлечения ренты и распределения патронажа... финансируемый за счет ресурсов, жертвуемых заинтересованными лицами, ищущих каких-либо выгод от государства»[68]. Централизуя клиентские связи и координируя распределение патронажа, «партия власти» контролирует доступ к гигантским ресурсам. Это помогает обеспечивать определенную политическую стабильность и национальную интеграцию, несопоставимые с эпохой Ельцина, но точно так же делает партию «скорее объектом интенсивного лоббирования, чем источником единой и связной политики, направляющей страну»[69].

Тем не менее, если принять во внимание то постсоветское наследие, с которым пришлось иметь дело Путину, консистентная политика может

66. Kryshtanovskaya and White, «Putin's Militocracy», p. 302.
67. См.: Gerald M. Easter, «The Russian State in the Time of Putin», *Post-Soviet Affairs*, Vol. 24, No. 3 (2008), p. 199–230 (p. 210).
68. Thomas Remington, «Patronage and the Party of Power: President-Parliament Relations Under Vladimir Putin», *Europe-Asia Studies*, Vol. 60, No. 6 (2008), p. 959–87 (p. 960).
69. *Ibid.*, p. 959–960.

рассматриваться скорее как некая роскошь, которую власть не может обеспечить. Опять-таки, западные аналитики должны научиться умерять свои ожидания относительно того, чего можно добиться в России, как быстро и какой ценой. Многое зависит от оценки *terminus a quo* (предела, «от которого» начинать отсчет). Некоторые полагают, что ельцинская Россия созрела если не для демократии, то, по меньшей мере, для строительства современного государства того типа, который существовал в Европе XIX–XX вв. По-видимому, для них ключевым тестом для правления Путина был вопрос, сможет ли он «деперсонализировать политические отношения... отделить государство от экономики... и позволить, чтобы возобладала подлинная институализация политического процесса»[70]. Путин явно провалил этот тест. Политический процесс все еще носит ярко выраженный личностный характер и слабо институализирован, а его главным образом действия является скорее клиентелистский и патримониальный, нежели рационально-бюрократический. Граница между частным и публичным размыта, как и раньше, а возможности для коррупции и незаконного обогащения нисколько не уменьшились, несмотря на «милитократию».

Однако что будет, если рассмотреть ельцинскую Россию с точки зрения аналогии с феодализмом? В этом случае результаты теста будут совсем иными, сходными с теми, которые получили европейские государственные строители XVI и XVII вв. Выражаясь словами Чарльза Тилли, оказался ли Путин способным подавить враждебные властные центры посредством их «уничтожения, подчинения, разделения, захвата, обольщения, подкупа, как только предоставлялись такие возможности»? Преуспел ли он в возвращении монополии на применение силы и в учреждении государства как «эффективного рэкетира-покровителя, имеющего преимущество в своей легитимности» (последнее подразумевает «возможность, что другие авторитеты будут действовать так, чтобы подтвердить решение данного авторитета»[71])? Этот тест Путин, судя по всему, прошел. Политический процесс стал, безусловно, более централизованным, чем он был в эпоху Ельцина; власть и авторитет сконцентрированы в центре в ущерб периферии; бизнесу и региональным элитам навязан новый социальный порядок — конечно, в ущерб свободе и плюрализму. Более того, хотя уровень коррупции высок, «захват государства» не может быть наиболее подходящей характеристикой того, что происходит в сегодняшней России, поскольку он предполагает определенную иерархию между различными субъектами («частное» захватывает «общественное»), которая не может должным образом описать доминирующий в политической сфере симбиоз между бизнесом и властью, возникший в эпоху Путина. В общем, российское государство можно считать более сильным, чем раньше, более автономным и более дееспособным, но только в ограниченном смысле: суверенная власть была восстановлена

70. Саква. *Путин. Выбор России*. С. 100.
71. Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime», p. 175, 171.

в масштабах всей страны, а политические субъекты, способные бросить ей вызов были либо уничтожены, либо нейтрализованы, либо кооптированы.

В терминах нашей модели, путинская Россия еще находится в «серой зоне», ниже «порога государственности», но она больше не находится в секторе IV и не определяется *tout court* как «феодальная». Шляпентох сам назвал путинский режим «умеренным феодализмом»; тем не менее, бросая взгляд на воображаемый «гибридный режим», он бьет тревогу: мы слишком отклонились от транзитологии и заменили «демократию и ее характеристики» на «феодализм и его характеристики». Владимир Гельман, заимствуя у Томаса Каротерса те самые термины, которые помогли нам идентифицировать противоположные полюсы нашего «облака меток», предпочитает говорить о движении от «бесформенного плюрализма» к «политике доминирующей власти»[72]. Это явным образом соответствует нашему ходу мысли, поскольку отражает движение по горизонтальной оси модели, от центробежной полиархии феодальных свобод и частных привилегий к центростремительной, монархической и, естественно, нелиберальной концентрации власти. Более того, это показывает, что весь процесс происходит ниже «порога государственности» и на значительном расстоянии от континуума «авторитаризм-демократия». В терминологии, предлагаемой здесь, Путин пытался перевести Россию из «феодализма» (сектор IV) в «абсолютизм» (сектор III). Далее наше рассуждение завершится попыткой лучше обосновать аналогию с абсолютизмом.

Аналогия с абсолютизмом

Предлагая краткий, предварительный набросок аналогии с абсолютизмом, необходимо вернуться к знаменитой аналогии Чарльза Тилли — аналогии между государством и организованной преступностью. Как уже отмечалось выше, для Тилли европейские государственные строители были «склонными к насилию своекорыстными предпринимателями», действовавшими в том же духе, что и рэкетиры, и принадлежавшими к той же категории людей, что и бандиты, пираты и гангстеры. У них была одна главная цель: монополизировать средства принуждения с целью уничтожения враждебных центров власти, которые оспаривали их единоличное право на занятие рэкетом. Речь шла о распоряжении властью и богатством за пределами их собственных владений. Для этого они должны были превратить свою силу, которой постоянно бросали вызов регионы, в непререкаемую центральную власть. Этот процесс занял столетия, в течение которых властный аппарат наиболее удачливых рэкетиров специализировался и институализировался: возникли регулярные армии, полицейские корпуса, фискальная и судебная бюрократия, которые действовали «во благо короля» в большей степени, чем во благо отдельных покровителей. Этот процесс завершился

72. Владимир Гельман. От «бесформенного плюрализма» — к «доминирующей власти»? (Трансформация российской партийной системы). *Общественные науки и современность*. 2006. № 1. С. 46–58.

только в XIX в., когда *государства* стали способны управлять всеми своими территориями, навязывая закон и порядок и занимаясь покровительством и извлечением доходов без опоры на «непрямое управление через региональных магнатов». На протяжении большей части этого периода различие между законным и незаконным, общественным и частным, центром и периферией оставалось неопределенным и спорным. Прежде чем стать благородными государственными строителями, несущими мир и порядок своим подданным, короли должны были элиминировать или кооптировать своих противников, «как только предоставлялись такие возможности»[73]. Согласно Тилли, этот грубый образ «абсолютистского» государственного строительства периода ранней Современности «куда лучше отражает реальность, чем альтернативные варианты: идея общественного договора, идея открытого рынка, на котором создатели армий и государств предлагали свои услуги потребителям, желающим их приобрести, идея общества, которое, поскольку большинство его членов разделяло одинаковые нормы и ожидания, вызвало к жизни этот тип правления»[74].

Данный образ также предлагает основу для аналогии, которая применима ко многим «переходным» странам, включая Россию. Определяя европейских государственных строителей периода ранней Современности как хищных рэкетиров, мы можем направить анализ в более реалистичное русло, чем может вынести транзитология: это предполагает, что нет никаких оснований ожидать от Путина того, чего мы не могли бы ожидать от Ришелье или Людовика XIV. Единственное, что в данном случае можно ожидать, так это попытку установить контроль над рэкетом на национальном уровне, поскольку без этого не могло сформироваться ни одно современное государство в Европе.

Перед тем, как перейти к дальнейшему, следует сделать одно важно разъяснение: «абсолютистская» аналогия не должна вызывать образ тираническое, деспотической власти (и еще меньше — образ всемогущего бюрократического государства, способного полностью контролировать общество). Так называемые историки-ревизионисты уже давно доказали ложность анахронистического мифа, отождествляющего абсолютизм с авторитаризмом и даже тоталитаризмом[75]. Они, напротив, показали неизбежные границы «абсолютной» государственности. Процитируем Тилли еще раз: «Если смотреть на эти системы снизу, то они часто оказывались тираническими по отношению к простому народу. Однако если смотреть на них сверху, им явно недоставало дееспособности; посредники поставляли правителям солдат, товары и деньги, но их автономные привилегии сильно ограничивали возможность правителя управлять и вводить перемены на якобы подпадающей под его юрисдикцию территории»[76].

73. Tilly, «War Making and State Making as Organized Crime», p. 175.
74. *Ibid.*, p. 169.
75. Обзор «ревизионистской литературы» см. в: William Beik, «The Absolutism of Louis XIV as Social Collaboration», *Past and Present*, No. 188 (Aug. 2005), p. 196–224.
76. Чарльз Тилли. *Демократия*. М.: Институт общественного проектирования, 2007. С. 36.

Соответственно, нас здесь интересует не жестокость государства, но его *слабость*, поскольку именно она определяет временную и типологическую дистанцию, отделяющую «абсолютизм» от как демократии, так и авторитаризма. Наибольшей очевидности в данном вопросе можно достичь посредством анализа комплекса проблем, который мы уже разбирали ранее: связь «частное-публичное», отношения «центр-периферия», роль клиентелизма и личных отношений в управлении государством.

Связь «частное-публичное»

Отсутствие различия между частным и публичным, характеризующее многие нынешние «переходные» режимы и являющееся важнейшей чертой феодализма, сохраняется и при абсолютизме, хотя и подвергается важным изменениям. В Европе ранней Современности (и, в частности, в парадигматическом примере Франции) оно представлено двумя феноменами-близнецами — «собственнической династичностью» и «продажей должностей». Первый феномен являлся продолжением средневековой традиции, когда король являл собой и действовал как «собственник государственной власти», при отсутствии четкого разграничения между частным лицом и частной собственностью с одной стороны, и официальным лицом и собственностью короны с другой[77]. Второй феномен представлял собой одобренную государством приватизацию государственной власти, причем основной его причиной было стремление увеличить доходы королевской казны[78]. Продажа должностей связывала абсолютизм с феодальным прошлым и демонстрировала сохраняющуюся неспособность даже «абсолютных» монархов управлять страной без привлечения на свою сторону богатых региональных магнатов. Вполне естественно, что такая ситуация вела к пренебрежению принципами эффективного администрирования и позволяла частным интересам пронизывать весь процесс управления на уровне, несовместимом с современными представлениями о дееспособности и автономии государства.

Продажа должностей, тем не менее, была важным шагом вперед сравнительно с феодализмом, поскольку отчуждаемая власть больше не являлась «могущественным союзом экономических сил принуждения и политического авторитета», который в предшествующие столетия превращался в центробежную фрагментацию синьориальной суверенности, над которой короли утрачивали контроль. Продавая должности за деньги, короли XVI и XVII вв., напротив, отчуждали только отдельные «фрагменты политической или судебной власти», конечным собственником которой выступал король; он сохранял законную власть над своими чиновниками, и, в действительности, делал их положение неустойчивым за счет ежегодного денежного взноса. Более того, локальное сопротивление и неподчинение держателей купленных должностей требовало от королей приложения «значительного авторитета» для того, чтобы справиться с ситуацией[79]. Это обусловило создание более эффективной вертикальной цепи административного подчинения и, что более важно, усиление личного авторитета монарха. Лояльность держателей купленных должностей обеспечивалась на самом деле не «идеей безличного государства, но их личными связями с монархом, который являлся гарантом их собственности»[80]. Пока эти связи оставались крепкими, патронаж в общем и продажа должностей в частности могли использоваться для интегрирования частных интересов в государство[81].

77. Herbert H. Rowen, *The King's State: Proprietary Dynasticism in Early Modern France* (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1980).
78. См. классическую работу: Roland Mousnier, *The Institutions of France Under the Absolute Monarchy, 1598–1789. Vol. II The Origins of State and Society* (Chicago, IL: University of Chicago Press, 1984).

Сказанное предполагает многообещающие возможности для сравнительного исследования. В самом широком смысле, смешение частного богатства и государственной власти является характеристикой всех «досовременных» европейских обществ, но его влияние на правительство менялось сообразно изменению баланса сил и социоэкономических условий. Чистый «захват государства» частными интересами ассоциируется с центробежными тенденциями децентрализации эпохи феодализма в условиях натурального хозяйства. Более централизованная форма политического контроля над связкой «богатство-власть» ассоциируется с абсолютизмом ранней Современности и подъемом денежной экономики. В более узком, но все еще значимом смысле, данная аналогия вполне применима к смешению экономики и политики, которое обнаруживается в России: в эпоху Ельцина мы наблюдаем такой тип «захвата государства», который аналогичен феодальному, а в эпоху Путина обнаруживается противоположная тенденция, при которой феодальные элементы сохраняются, но отношения «бизнес-власть» становятся более симбиотическими и подчиненными более строгому государственному контролю. Кроме того, хотя данные феномены характеризуют современный российский опыт еще только зарождающегося капитализма, не следует забывать, что смешение экономики и политики при явном примате последней были важнейшими характеристиками советской системы (хотя, конечно, в отсутствие рынка и частной собственности). Хотя советская система и допускала, особенно в регионах, существование неформальных механизмов, посредством которых экономическо-управленческие интересы пронизывали и формировали политический процесс, она, безусловно, отчуждала куда меньше политической власти в пользу экономических элит, чем это имело место при ельцинском «промышленном феодализме». Тут можно порассуждать на тему, включает ли «абсолютистская стратегия»

79. William Beik, *Absolutism and Society in Seventeenth-century France* (Cambridge, Cambridge University Press, 1988), p. 13–14.
80. Nicholas Henshall, *The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European Monarchy* (London: Longman, 1992), p. 20; см. также: J. H. Shennan, *Liberty and Order in Early Modern Europe* (London: Longman, 1986), p. 23.
81. См.: Giorgio Chiottolini, «The "Private," the "Public," the State», *Journal of Modern History*, Vol. 67 (1995), supplement, p. 34–61.

Путина некий модернизированный вариант советских решений для постсоветских проблем[82], но, в любом случае, такая «современность» не включает (и, вероятно, не может включать) пересечения «порога государственности». Подход Путина обладает теми же ограничениями и теми же двусмысленностями, что и подход монархов ранней Современности, которые в большей степени пытались установить контроль над связкой «частное-публичное» посредством изменения правил, а не следовали современным путем отделения государства от экономики.

Отношения «центр-периферия»

У абсолютизма не было институциональных средств, при помощи которых современное государство регулирует отношения «центр-периферия». «Государство», которое возникло в XVII в. было куда менее современным и куда более слабым, чем это обычно считается, как в отношении способности к принуждению, так и в отношении автономии от частных и региональных интересов. Это верно, что посредством своих *lettres de cachet* Людовик XIV мог отправить кого угодно в ссылку или заключение, что он манипулировал системой правосудия ради устранения политических конкурентов, что он, наконец, вмешивался в выборы местных муниципальных чиновников на том основании, что они вовлечены в местные «клики, интриги и заговоры». Корона, однако, испытывала недостаток людей и ресурсов для того, чтобы сделать деспотию обычным средством правления на территории всей Франции. Ненадежные держатели купленных должностей являются одним примером; другим примером является бесконечная борьба Бурбонов с региональными губернаторами из числа аристократии, которые наследовали свои должности на основании феодального права. Хотя Ришелье, Мазарини и Людовик XIV пытались «выхолостить их должности, сделав их всего лишь почетными», губернаторы продолжали существовать в качестве региональной знати и часто могли выступать в роли лоббистов в Версале, защищая интересы своих провинций, иногда в сговоре с королевскими интендантами.

Назначение правительством интендантов обычно рассматривается как одно из наиболее важных бюрократических новшеств абсолютизма. Должность интенданта, особого посланника, не могла быть куплена; интенданты обеспечивали интересы короля в провинциях, часто подвергались ротации и могли быть отозваны в любое время. Впрочем, с течением времени многие из них становились все более склонными совершать независимые действия, делегировать значительную власть местным сановникам и настолько укоренялись в своих généralités (административных единицах), что к концу правления Людовика XIV «административная децентрализация... достигла предела»[83]. Как подчеркивает один историк, «независимость интендантов от местных сообществ является мифом... Для того, чтобы посредством института интендантов создать надежные связи между центром и регионами, был необходим альянс с местными властными группировками». Многие интенданты даже получали свои посты благодаря патронажным связям с аристократическими группировками в Версале, представителями парламента и с самой провинциальной элитой, за которой они должны были надзирать. На практике, насколько бы эффективной ни являлась их деятельность, она «опиралась на личные отношения системы „патрон-клиент“, а не на безличный порядок бюрократического механизма»[84].

Это открывает еще одну перспективную область исследований: пределы обычных решений проблемы «центр-периферия» в условиях слабости государства. Несмотря на глубокие изменения политической культуры и организации управления за многие прошедшие столетия, историки, подходя к этой проблеме, используют удивительно похожие понятия и термины. Задача надзора и контроля доверяется особым избранным людям, чья политическая лояльность предполагается на основании того что они a) отобраны в индивидуальном порядке и зависят от центральной власти, b) лично независимы от интересов элит региона, в который направляются, c) могут быть отозваны в любое время, d) часто подвергаются ротации для того, чтобы избежать сговора между контролирующими и контролируемыми. От *missi dominici* Карла Великого до интендантов Людовика XIV мы наблюдаем один и тот же образ такого агента, посылаемого на периферию для сбора информации, сообщений о злоупотреблениях и помощи в исполнении центральных директив. Тем не менее, подавляющее большинство фактов свидетельствует о том, что эти агенты редко действовали так, как ожидалось: для выполнения своих задач, поставленных центральной властью, им было необходимо сотрудничать с местными представителями, а за это всегда приходилось платить определенную цену. Более того, их возможности к принуждению всегда оказывались ограничены личностной, не-бюрократической системой личного отбора, которая не могла быть свободна от чьих-либо персональных интересов. Таким образом, эти агенты, которые, как предполагалось, должны были обеспечивать центральный контроль, оказывались втянутыми в сеть региональной солидарности и взаимного покрывательства, которую они не могли (а часто не хотели) разорвать. В эпоху феодализма вассалы, синьоры и более мелкие правители обрели такую силу, что Каролингская империя распалась, а институт *missi* перестал существовать. В эпоху абсолютизма региональные властные элиты были вынуждены сотрудничать с интендантами, но весьма часто преуспевали в их обмане, нейтрализации, кооптации или коррумпировании.

Опять-таки, аналогия с феодализмом, как представляется, описывает режим Ельцина, когда губернаторы регионов, действовавшие не столько в интересах центральной власти, сколько в интересах местных магнатов, заключили сделку с президентом, обретя в результате почти полную поли-

82. Stoner-Weiss, «Resistance to the Central State on the Periphery», p. 107.
83. *Ibid*.

84. Henshall, *The Myth of Absolutism*, p. 44.

тическую независимость, когда их должности стали выборными. Напротив, аналогия с абсолютизмом применима к режиму Путина, который вернулся к назначению губернаторов и создал новую иерархию контроля, кульминацией которого стал институт «полпредов» и их федеральных инспекторов с параллельным аппаратом «силовиков». Но даже Путин не добился полного контроля над губернаторами и был вынужден смириться с *de facto* определенной местной автономией в обмен на политическую поддержку. Здесь также проступают очертания советского наследия—с местными партийными секретарями, колеблющимися между ролью агентов центральной власти и ролью региональных посредников, оставляя Москву постоянно неудовлетворенной состоянием отношений «центр-периферия». Во всех этих случаях общим знаменателем является слабо институциализированная небюрократическая система управления при помощи преимущественно «кадров», а не законодательно навязываемых правил и административных процедур. Политические режимы, чья государственность находится на таком уровне развития, далеки от того, чтобы осуществлять прямое единообразное правление на всей своей территории. Они должны использовать силу, чтобы навязывать свою власть, и клиентелизм и патронаж, чтобы заставить систему работать.

Клиентелизм и личная власть

Государственное строительство ранней Современности основывалось не столько на национальной бюрократии, которая только зарождалась, сколько на клиентелизме, патронаже и использовании личных отношений. Однако в том, что касается политики, здесь могло иметься значительное разнообразие. Благодаря фундаментальной работе Шэрон Кеттеринг, мы можем вновь рассмотреть Францию как парадигматический пример. В XVI в. это было общество, которым все еще правили элиты, с «фрагментированным, раздробленным государством», где король мог править лишь с согласия «широкой сети аристократических клиентел». Последние возникли в результате трансформации феодальных связей, основанных на личной преданности, в «побочную», более прагматичную форму отношений «патрон-клиент», где доминировала «наследственная аристократия, монополизировавшая политическую власть и авторитет в принятии решений»[85]. Использование аристократических клиентел в своих интересах было первоочередной задачей правителей-абсолютистов, и Генрих IV мастерски выполнил ее в процессе умиротворения страны после религиозных войн (на самом деле, король откупился от аристократии, сделав ее зависимой от королевского патронажа). Эта система, однако, предоставляла слишком

85. Sharon Kettering, *Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth-Century France* (Oxford, Oxford University Press, 1986), p. 141. Подробная дискуссия о возможности широкого применения термина «клиентелизм» в социологии представлена в: Sharon Ketering, «The Historical Development of Political Clientelism», *Journal of Interdisciplinary History*, Vol. 18, No. 3 (1988), p. 419–47.

много автономии ненадежной аристократии и оказалась внутренне нестабильной. Кардинал Ришелье разработал альтернативную систему, в которой патронаж распределялся избирательно через параллельную постоянную структуру его «креатур», помещенных на ключевые позиции по всей стране. Кеттеринг называет этих людей «провинциальными посредниками»: небогатая аристократия, королевские и местные чиновники, использующие свои локальные сети и связи в центре, они функционировали наподобие политических механизмов, помогая короне обойти, а в конечном счете, и заменить клиентелы крупной аристократии. Мазарини, Кольбер и Людовик XIV усовершенствовали систему Ришелье, пронизав всю страну вертикальной структурой отношений «патрон-клиент», на вершине которой находился Версаль—настоящий распределительный центр королевского патронажа[86]. В этом смысле «клиентелизм как политическая система... служил мостом между позднесредневековыми политическими структурами, в которых существовали многочисленные центры власти и наличествовал сильный регионализм, и абсолютной монархией Людовика XIV, с ее сильным центральным правительством и развивающейся национальной бюрократией»[87].

Следует отметить, что по современным стандартам эта система была внутренне коррумпирована, поскольку «она смешивала общественные и частные интересы и систематически действовала в интересах тех или иных групп: она была политической сетью личных отношений, основанной на взаимообмене государственным патронажем»[88]. Нельзя сказать, конечно, что понятия политической коррупции во Франции не существовало; тем не менее, подарки, взятки, должностные злоупотребления, непотизм и фаворитизм рассматривались как коррупция только тогда, когда они ущемляли интересы короны. А поскольку провести различие между государственными интересами короны и частными интересами должностного лица было не всегда просто, то четкого определения коррупции не существовало, что нередко становилось хорошим оправданием в политических процессах. Например, Ришелье, Мазарини и Кольбер были печально известны своим непотизмом и, пребывая в должности, сколотили немалые состояния. Это же касалось министра финансов Людовика XIV Николя Фуке, однако чрезмерные политические амбиции довели его до ареста по обвинению в коррупции и последующего пожизненного заключения.

В заключение можно сказать, что по любым современным стандартам абсолютизм представлял собой примитивную, раннюю стадию государственного строительства. «Государство» в течение длительного времени строилось удачливыми рэкетирами, которые сочетали безжалостную монополию на насилие с убеждающей силой клиентелизма, причем все осуще-

86. Henshall, *The Myth of Absolutism*, p. 40; о патронаже и власти в Версале см. также классическую работу: Норберт Элиас, *Придворное общество*. М.: Языки славянской культуры, 2002.
87. Kettering, *Patrons, Brokers, and Clients*, p. 224.
88. *Ibid.*, p. 192.

ствлялось при помощи личностной патримониальной системы управления, неспособной отличать частное от общественного и пораженной политической коррупцией. Тем не менее, абсолютизм дал Франции и другим европейским странам более стабильное правительство и эффективную систему интегрирования частных интересов и региональных властных элит в национальную политику. Безразличные к истории нетерпеливые социал-демократы могут считать эти достижения слишком скромными, поскольку в данной системе мало признаков «свободы» и «власти закона». Она, тем не менее, являлась тем фундаментом, на котором позднее были построены более автономные и дееспособные современные государства, и пролагала путь к будущим вариантам развития, включая авторитарный, либеральный и демократический.

Наконец, несколько предложений относительно дальнейших исследований. Личная власть, клиентелизм и коррупция ассоциируются с феодализмом, когда общественные ресурсы присваиваются многочисленными, конфликтующими друг с другом частными интересами, которые могут противостоять центральной власти и даже уничтожать ее. Они, впрочем, могли использоваться и как примитивные инструменты национальной интеграции, если развивающаяся центральная власть была способна избирательно распространять патронаж через контролируемую ею политическую машину. Опять-таки, аналогия с феодализмом помогает нам понять Россию Ельцина, а аналогия с абсолютизмом проливает некоторый свет на эпоху Путина. И даже если сложно предсказать, как быстро Россия достигнет более рационально-бюрократической формы государственности, должно быть ясно, что, по крайней мере, на данный момент она его не достигла. Путина следует воспринимать не столько как современного авторитарного диктатора, сколько как «абсолютного» монарха раннего Нового времени.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сказанное выше не следует понимать в том смысле, что все страны будут или должны быть «модернизированы» сообразно последовательности европейского политического развития, в одном и том же порядке и в течение одних и тех же периодов времени. Однако изучение европейского прошлого позволяет нам сделать некоторые предварительные заключения: (а) политические режимы, включая демократию, не возникают из некоей одномерной игры с нулевой суммой между обществом и государством, но занимают свое положение в политическом пространстве и движутся в нем в результате постоянного взаимодействия между двумя измерениями — свободы и государственности; б) до того, как режим наберет достаточную силу (т. е. до того, как он пересечет «порог государственности»), ни авторитаризм, ни демократия не являются возможными альтернативами для политических элит; в) ничто из этого не происходит быстро и ненасильственно (это должно, по крайней мере, обуздать энтузиазм транзитологии). Конечно, можно избегать разговоров о государстве и пренебрегать историей, — в конце концов,

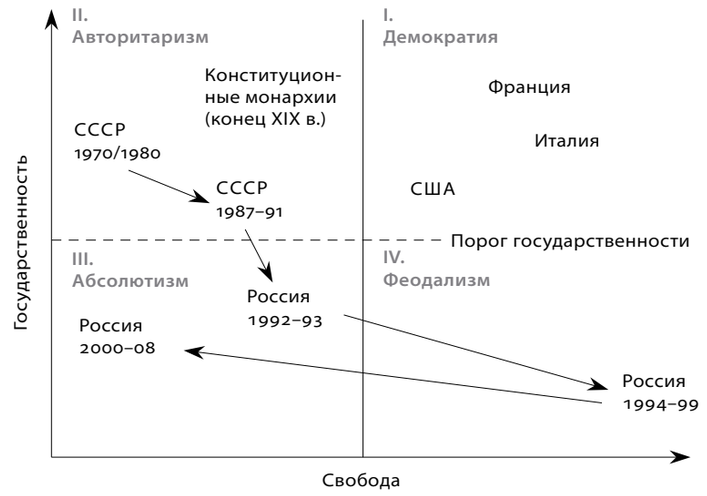


Диаграмма 4. До-современные траектории постсоветского российского государства

многие верят, что постоянный оптимизм увеличивает силы — но нельзя делать это себе во вред. Как показывает пример России и других стран, чей «переход» к демократии не удался, стойкая приверженность нереалистичным ожиданиям может иметь плачевные последствия — как на теоретическом, так и на политическом уровнях.

В завершение статьи заполним реальной политикой все сектора нашей модели. Как показывает Диаграмма 4, сектор I отведен различным типам демократии. Согласно общепринятому мнению, Франция расположена где-то в верхней его части, так как в ней существует сильное государство и стандартный для Западной Европы уровень свобод. США, где — сравнительно с многими европейскими странами — «меньше государства, но больше свобод», стремится к нижней правой части сектора. Италия должна быть расположена в нижней части: несомненно свободное общество, но государство ослаблено необычайно высоким уровнем политической коррупции, неэффективности бюрократии, организованной преступности и «конфликтом интересов», который, по мнению многих, находится на грани «захвата государства».

Сектор II, в свою очередь, заполнен различными типами авторитарных режимов. Там, в верхней его части, должны размещаться европейские конституционные монархии XIX в. и либерально-авторитарные режимы до введения общего избирательного права. В том же секторе, но несколько ниже, мы поместим СССР эпохи Брежнева: полунелиберальный режим, постепенно двигавшийся к «законодательному оформлению» своих структур и про-

цедур, но наделенный относительно слабым государством, которому недоставало автономии перед лицом партии, и который был не вполне дееспособен из-за всепроникающей, но поистине легендарно неэффективной и чем дальше, тем больше фрагментированной бюрократии. Диаграмма 4 также показывает траекторию, по которой двигался Советский Союз в последние годы своего существования, когда Горбачев начал стремительное движение к либерализации *и* демократизации, допустив, в то же время крах партии и распад государства: страна внезапно оказывается в правом нижнем секторе и достигает «порога государственности», двигаясь вниз.

Перейдем теперь к зоне, находящейся ниже «порога государственности», которая уже не является «серой», так как мы нашли названия для ее секторов. Сектор IV («Феодализм») представляет ситуацию предельной фрагментации с большей «свободой от государства» и меньшим порядком, чем в какой-либо другой части политического пространства. Многочисленные центры власти конкурируют друг с другом в процессе приватизации общественных ресурсов и контролируют свое непосредственное пространство при помощи силы и личных связей зависимости. Центробежные тенденции еще больше ослабляют государство, которое подавляется взаимосвязанными феноменами коррупции и «захвата». Если в этой ситуации проводятся выборы, то они могут ускорить процесс политической фрагментации, так как богатые индивиды, корпорации и местные кланы пользуются ими для укрепления основ своей власти. Как отмечено на Диаграмме 4, именно здесь располагается ельцинская Россия 1990-х, в которой олигархи и магнаты пируют на останках государства и превращают его части в свои личные «фьефы».

Наконец, в секторе III («Абсолютизм») свобода ограничена, власть сконцентрирована, а элементарный порядок обеспечен. Действия центростремительных сил все еще носят крайне личностный характер, но они достаточно эффективны, чтобы государство сохраняло контроль над общественными ресурсами, а элиты и клиентелы стремились к сильному властному центру. Для обеспечения этого процесса правители должны устранять своих противников или кооптировать их при помощи избирательного доступа к государственному патронажу через контролируемую из центра политическую машину. Они могут также попытаться нейтрализовать или обойти институт посредников, а могут позволить ему существовать и функционировать в качестве канала для консультаций с социальными элитами, чье сотрудничество остается важным. Также может появиться лидер, который еще больше усилит центральную власть при помощи прямого и личного обращения к массам — обычно посредством выборов или референдумов. Эта ситуация, надо особо отметить, в высшей степени двусмысленна. Режим кажется сильным и даже принимающим автократические формы, но государству при этом недостает автономии и дееспособности современного государства. Ограничение свободы отнюдь не подразумевает высокий уровень государственности. Ельцинская Россия быстро пересекла этот сектор в начале 1990-х при попытке установить плебисцитарный режим, завершившейся расстрелом парламента из президентских танков. Попытка провалилась, и Россия сползла в феодальную раздробленность. Главной задачей Путина было вернуть Россию в сектор III. Для того, чтобы оценить его президентство, мы должны понять, как он справился с этой задачей.

«Феодализацию» ельцинской России в 1990-х не следует путать с демократизацией, равно как и путинскую рецентрализацию 2000-х не следует рассматривать как возвращение к авторитаризму. Хотя государственное строительство входило в повестку дня Путина, его следует интерпретировать как постфеодальное, раннесовременное, как жесткую концентрацию личной власти и практичный торг с наиболее могущественными социальными силами. Возникает соблазн сделать вывод, что надежда на демократизацию России была (и остается) связанной с ее движением от абсолютизма к современному авторитаризму, а Путин мог поспособствовать тому, чтобы это стало возможным, хотя и не неизбежным, и не скорым. Все еще не ясно, будет ли российское государство усиливаться и институализироваться, следуя по европейскому пути авторитарной модернизации, либерализации и демократизации. Очевидно, однако, что даже истинно демократический лидер нуждается в правительстве, которое способно «контролировать управляемых», перед тем, как даже попытаться «обязать его контролировать самое себя».

Перевод с английского Алексея Апполонова